З. 37.
III. 44.
II. 1.
№ 34.

37. 44. 1. 34.

ЛИДІЯ ЧАРСКАЯ.

ВИНОВНА, НО.....

РОМАНЪ
МЯТЕЖНОЙ
ДУШИ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВѢНОКЪ"

С.П.Б.

Лидія Чарская.

ВИНОВНА, НО.....

Романъ мятежной души.

Издательство „Вѣнокъ“.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, СПБ., Б. Подъяч., д. 39.

Лидія Чарская.

Femina sum et glorior hoc.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

— Паспортъ, деньги, акредитивъ... Вы ничего не забыли, Листикъ?

На блѣдную до неузнаваемости Лерскую устремлены два внимательные, тоскующіе глаза. Склонившееся къ ней лицо полно нѣжности и заботы.

— Женя, голубчикъ! Сохраните мнѣ Нату, а все остальное—чушь и пустяки.—Лерская живо откидываетъ вуаль и протягиваетъ руки: одну — высокому студенту съ красивымъ, энергичнымъ, одухотвореннымъ лицомъ, другую — тоненькой двѣнадцатилѣтней дѣвочкѣ съ недѣтски серьезнымъ взглядомъ глазъ подъ высоко поднятыми бровями.—Сохраните мнѣ Нату, ради всего святого сберегите мнѣ ее!—шепчетъ совсѣмъ тихо Лерская, сжимая исхудалыми пальцами сильную руку студента и нѣжнымъ движеніемъ свободной руки притягивая къ себѣ дочь.

— Зачѣмъ вы это повторяете, Ина?.. Листочекъ мой! Вы же знаете, что я живу исключительно для васъ и ради

васъ. Буду беречь ваше сокровище пуще глаза.—Подъ черными усами студента мелькаетъ тѣнь, подобіе улыбки, и пропадаетъ въ тоскующемъ взглядѣ горящихъ печалью глазъ.—Листикъ мой, Листикъ! Уѣзжаетъ отъ насъ мальчикъ милый!—уже совсѣмъ шепотомъ добавляетъ онъ.

— Мамочка! Мамочка! Смотри! Въ ресторанъ-вагонѣ два поваренка ѣдутъ! Гляди: маленькіе, смѣшные!

Голосокъ Наты дисгармонируетъ съ ея внѣшностью. Фигурка дѣвочки сильна и крѣпка не по годамъ, а звукъ голоса тонокъ какъ у ребенка.

— Вижу, милушка моя, вижу! — бросаетъ Лерская и спѣшно прибавляетъ: — до Вержболова пришлю открытки съ нашими русскимм марками. Изъ Берлина длинное письмо. Только и вы пишите: одинъ день Ната, другой—вы, Женя.

— Конечно, Листикъ, конечно!

Эти нѣжныя наименованія „Листикъ“ и „мальчикъ“ удивительно гармонируютъ съ внѣшностью женщины. Она хрупка, какъ листъ, оторванный бурей, а послѣ пережитой опасной болѣзни кажется еще болѣе хрупкой со своимъ лицомъ пожившаго мальчишки, задорнымъ и вдохновенно задумчивымъ въ одно и то же время, съ трагической складкой между бровей и внимательными ищущими глазами. Смѣсь много пережившаго на своемъ вѣку человѣка и духовно-нетронутаго въ тоже время, далеко не растратившаго своихъ силъ, существа,—вотъ чѣмъ вѣетъ отъ всей ея высокой, тонкой фигуры, отъ блѣднаго, усталаго съ преждевременными морщинками

на лбу лица. Это лицо силится скрыть всѣми силами обуревающую душу его владѣлицы муку.

Все происходящее сейчасъ съ нею кажется Лерской страннымъ, тяжелымъ кошмаромъ, ненужнымъ и пустымъ. И длинная платформа Варшавскаго вокзала съ безсмысленно снующей по ней толпой ѣдущихъ и провожающихъ, и сама она въ дорожномъ костюмѣ съ традиціонной сумочкой черезъ плечо, и чернобровое лицо поляка-проводника, съ преувеличеннымъ рвеніемъ устроившаго ее только что въ дамское купе вагона по плацкартѣ, и эти розы въ рукахъ Евгенія, которыя онъ привезъ для нея.

— Бога ради берегите себя, мальчикъ! Не кушайте вы въ ресторанъ-вагонѣ всякой дряни! Лучше вмѣсто обѣдовъ заказывайте что-нибудь по картѣ. И въ Берлинѣ не спрыгивайте на-ходу съ трамваевъ. Впрочемъ, кажется, тамъ это запрещено, штрафуютъ. Хоть тутъ-то спокойствіе.

Евгеній Александровичъ Нераевъ говоритъ нервно, точно сердится, но его глаза, великолѣпные, черные, блестящіе, какъ черный жемчугъ, глаза полны невыразимой нѣжности, любви и заботы къ ней, къ этой тоненькой женщинѣ съ внѣшностью усталаго мальчугана.

— Буду, буду беречься, Женя. Полно ужъ! Не пилите!..

— Второй звонокъ. Слышите? Приглашаютъ садиться въ вагоны!—звучитъ небрежно и весело голосъ гвардейскаго офицера въ толпѣ провожатыхъ, окружающихъ какую-то пикантную дамочку въ огромной, эксцентричной шляпѣ.

Здѣсь много военной молодежи, смѣха, шутокъ и цвѣтовъ. Дамочка наскоро подставляетъ губамъ мужчинъ свои маленькія ручки, затянутыя въ щегольскія перчатки, и вскакиваетъ въ вагонъ.

— Простимся, милые! — беззвучно роняютъ губы Лерской, и она судорожно обнимаетъ голову дочери.— Дѣтка моя... Слушайся дядю Женю, фрейлейнъ. Береги себя!.. Чуть ноги промочишь, сейчасъ же натри одеколономъ. Слышишь? Женя, не забудьте: по утрамъ Натѣ кефиръ. Изъ сладкаго она любитъ абрикосовый патъ и шоколадъ Гала-Петеръ послѣ обѣда. Я уже дала инструкціи Эммѣ. Да, экзамены подойдутъ, не позволяйте ей учиться по ночамъ. И на дачу переѣзжайте скорѣе, дорогіе... Да... Къ заутрени въ гимназическую церковь идите... Ната пусть въ бѣломъ вуалевомъ платьѣ...

Слова срываются отрывисто, быстро, но еще быстрѣе, еще отрывистѣе горячіе, изступленные, материнскіе поцѣлуи.

Ната не умѣетъ ласкаться. У нея не-дѣтски замкнутая натура, но сейчасъ дѣвочка потрясена. Она жмется, какъ котенокъ, къ матери, украдкой ловитъ, цѣлуетъ ея пальцы и шепчетъ:

— Мамочка, береги себя, пожалуйста, береги!

Съ трудомъ отрывается Лерская отъ дочери, смотритъ на поблѣднѣвшее личико Наты, быстро, судорожно креститъ и цѣлуетъ снова. Потомъ она обращается къ студенту:

— Женя... голубчикъ... Того, что вы сдѣлали для меня, я никогда не забуду!—и прежде, чѣмъ онъ успѣ-

ваетъ опомниться, отвѣтить что-либо, двѣ тонкія руки Лерской падаютъ ему на плечи, а вздрагивающія отъ волненія губы прижимаются къ его лбу.

— Господа, занимать мѣста просятъ! — прерываетъ этотъ моментъ прощанья рѣзкій голосъ кондуктора.

Сильная рука Нераева беретъ подъ локоть Лерскую, легкій прыжокъ—и она уже на площадкѣ вагона.

— Мамочка! Мамочка!—лепечетъ Ната, и ея взглядъ тянется къ матери.

Третій звонокъ... Свистокъ, легкое колебаніе, толчекъ назадъ, и медленно начинаетъ двигаться поѣздъ.

Затуманенными глазами смотритъ Лерская на то мѣсто платформы, гдѣ только что стояли дорогіе ей люди. Ихъ уже нѣтъ тамъ. Какая-то старушка въ траурѣ и маленькій пажъ машутъ платками кому-то, находящемуся въ сосѣднемъ купе.

Съ оборвавшимся сердцемъ Лерская спѣшитъ къ окну. Въ душѣ одно желаніе, острое до боли, до физической муки: увидѣть еще разъ ихъ обоихъ.

Медленно, какъ ползущій гигантскій червь, тянется поѣздъ. За холоднымъ стекломъ мелькаютъ люди, чужія лица, весенніе костюмы, шляпы, военныя и штатскія пальто, фуражки, котелки и цилиндры, и все это сплошь залито апрѣльскимъ солнцемъ.

„Гдѣ же они? Милые, гдѣ?“—щемитъ Лерскую болѣзненная мысль обманутаго ожиданія.

Вотъ, наконецъ-то! Ната! Женя!

Вся душа женщины переселяется въ ея взглядъ.

Глаза впились въ дорогія ей лица; однимъ общимъ взглядомъ она обнимаетъ обоихъ.

Нераевъ съ дѣвочкой стоятъ на самомъ концѣ платформы. Личико Наты растерянно и расползлось въ жалкую дѣтскую гримасу, силящуюся удержать слезы. Нераевъ сорвалъ съ головы фуражку; его лицо залито слезами. Полны ими и его черные, прекрасные, тоскующіе глаза.

Что-то больно и ѣдко кусаетъ сердце Лерской. Судорожный клубокъ давитъ горло и, задержавъ черезъ силу готовый сорваться стонъ, она бросается въ уголъ дивана и тихо, беззвучно плачетъ.

* * *

Поѣздъ, именуемый громкимъ именемъ экспресса, поражаетъ своей медлительностью. Проѣхали Гатчину, Сиверскую, Лугу... Предъ Псковомъ заглянула въ купе бритая физіономія оффиціанта, предложившаго карточку обѣда.

Въ окнѣ, около котораго приспособилась Лерская, бѣгутъ однообразныя картины,—непрерывныя извилины холмовъ, поля, пасущіяся на нихъ стада, дальше—только что засѣянныя хлѣбами нивы. Лерская смотритъ на все затуманенными отъ слезъ глазами, видя и не видя давно знакомый ландшафтъ. Предъ нею неотступно стоитъ другое—растерянное личико ея дѣвочки и залитое слезами лицо Нераева.

— Вамъ, кажется, нехорошо? Могу я предложить вамъ капель?

Она быстрымъ усиліемъ воли подавила въ себѣ приступъ отчаянной тоски и подняла голову. Предъ нею пожилое, полное лицо съ прядью сѣдѣющихъ волосъ надъ лбомъ и крупная фигура въ дорожномъ, широко сшитомъ, удобномъ платьѣ.

— У меня всегда капли съ собою... валерьянка. Сейчасъ прикажу принести воды проводнику. Выпьете — легче станетъ!

Дама хлопотливо ищетъ въ дорожной сумкѣ и черезъ минуту капли уже на маленькомъ складномъ вагонномъ столикѣ предъ Иной.

— Боже мой! Ваши розы совсѣмъ завяли!—послышался другой голосъ, болѣе молодой и звонкій, изъ противоположнаго уголка купе, и Ина увидѣла молоденькую дамочку въ эксцентричной шляпѣ, ту самую, которую провожала на вокзалѣ толпа молодежи.

Она быстро нагнулась къ лежащему на диванѣ букету Ины и съ наивной озабоченностью стала расправлять длинные помятые стебли цвѣтовъ.

Ина покорно выпила поданныя ей капли, поблагодарила пожилую сосѣдку, улыбнулась эксцентричной дамочкѣ и почувствовала необходимость слышать участливый женскій голосъ и хоть немного развѣять острый приливъ тоски.

— Вамъ нездоровится?—помолчавъ немного, обратилась снова къ Лерской ея пожилая спутница.

— Да, боль въ поясницѣ... Не мудрено!.. Вѣдь я только что съ постели: вынесла тяжелое воспаленіе брюшины. Ѣду долечиваться на грязи... въ Франценсбадъ.

— Ахъ, и я туда же! Какой великолѣпный случай! Поѣдемъ вмѣстѣ!—оживилась эксцентричная дамочка.—Зинаида Аркадьевна Клокъ. Познакомимся.

— Ина Лерская!

— Какъ? Неужели? Вы—Ина Лерская? Вы?—Эксцентричная шляпка заходила, заколебалась справа налѣво, а хорошенькое личико госпожи Клокъ засіяло отъ удовольствія.—Невозможно, душечка, я васъ совсѣмъ другой себѣ представляла... Думала — почтенная матрона, убѣленная сѣдинами, умудренная житейскимъ опытомъ, и вдругъ—вы... Барышня... тоненькая, молодая... Немножко старше своей сестренки... той, что на вокзалѣ!

— Увы! Я должна разочаровать васъ. Мнѣ уже тридцать три года, я—вдова, и дѣвочка, провожавшая меня,—моя дочь.

— Неужели? Неужели?—затрещала дамочка,—а я-то думала, барышню провожаютъ братъ съ сестрою.

— Насчетъ перваго не ошиблись: студентъ — мой троюродный братъ.

— Но ваши фельетоны!.. Такъ могутъ писать только много пережившіе люди! Правда, молодо, сильно, сочно! Но какой опытъ и знаніе жизни! Поразительно!—не унималась хорошенькая Клокъ.

— Мои дочери съ ума по васъ сходятъ,—вмѣшалась въ разговоръ пожилая спутница Ины, — бредятъ вами. Онѣ — ваши горячія поклонницы и номера „Свѣтлаго Вѣстника“ у насъ не сходятъ со стола. Позвольте назваться: Анна Ильинична Ситина, представительница фирмы „Ситиной и дочерей“. Ѣду ревизовать своего бер-

линскаго управляющаго, какъ ведетъ дѣло торговли подъ чужимъ небомъ. Рада познакомиться — очень рада!—роняла она, энергично тряся своей пухлой рукой тонкую руку Ины.

— Нѣтъ, просто удивительно! И подумать только!.. Ничего не подозрѣвая очутиться въ купе съ Лерской, кумиромъ нашей молодежи, редакторомъ „Свѣтлаго Вѣстника“, съ самой Лерской!—не унималась Клокъ.

— О, ради Бога! — болѣзненно поморщилась Ина, съ искреннимъ отчаяніемъ подумывая о томъ, что теперь она уже не будетъ имѣть ни минуты покоя ни здѣсь, ни въ Берлинѣ, ни въ далекомъ богемскомъ курортѣ.

„Надо было назвать себя иначе, и дернуло же меня за языкъ некстати!“—волновалась она.

А хорошенькая Клокъ, обрадовавшись случаю, уже трещала о томъ, какъ она „удрала“ отъ мужа, спасаясь отъ его тиранства, пока временно только, но скоро надѣется это сдѣлать и совсѣмъ. Къ сожалѣнію, только онъ не далъ ей паспорта... Ну, да она надѣется и безъ паспорта „перескочить“ границу. Въ Вержболовѣ, въ таможнѣ, у нея знакомые служащіе, переведутъ, а вещи съ посыльнымъ перевезутъ въ телѣжкѣ. Разъ они уже сдѣлали точно такъ. И въ Вержболовѣ ротмистръ знакомый къ тому же... съ черненькими усиками... Прелесть!..

— Неужели же онъ арестуетъ меня?—со смѣхомъ заключила она.

Отъ этой полудѣтской, полупошлой болтовни у Лерской разболѣлась голова. Отъ толчковъ вагона заныла спина щемящей знакомой болью, не покидавшей ее все

послѣднее время. Чтобы отдѣлаться отъ черезчуръ словоохотливой собесѣдницы, она зѣвнула нѣсколько разъ подъ рядъ, сдѣлала тупо-безсмысленные глаза и прикурнула къ уголку вагона.

Зиночка Клокъ еще долго распространялась по поводу своей печальной судьбы съ тираномъ-мужемъ, потомъ проектировала будущее: какъ она разведется и поступитъ на сцену, непремѣнно поступитъ. У нея талантъ. Она въ „Безприданницѣ“ играла и цыганскіе романсы поетъ чудесно.

— А вотъ писать ничего не могу, ни строчки даже,— сознавалась она, чистосердечно дѣлая наивные глаза и безпомощнымъ жестомъ вскидывая руки, — письмо составить и то наказанье: ужъ такая дура уродилась! Не взыщите! И откуда вы-то все берете?.. Идеи всѣ эти для своихъ фельетоновъ? Душечка, неужели выдумываете изъ головы?—заключила она совсѣмъ уже наивно.

— Изъ головы,—сонно проронила Ина и закрыла усталые глаза.

* * *

Черезъ часъ Лерская сидѣла въ вагонъ-ресторанѣ за остывшимъ обѣдомъ и, по-прежнему, не отрываясь смотрѣла въ окно. Противъ нея помѣстилась Зиночка Клокъ, цѣлившая чуть подрисованными глазками въ какого-то элегантнаго, красиваго нѣмца съ рыжими усами, занявшаго сосѣдній столикъ.

Купчиха Ситина осталась въ купе. Она постилась ради Страстной недѣли и теперь закусывала взятыми

изъ дома рыбными котлетами и пирожками съ рисомъ.

Мимо Лерской бѣжали по-прежнему холмы, поля и деревья, мелькали одинокія фигуры странниковъ съ котомками за плечами, зеленѣющіе первыми всходами посѣвы. Тѣ же однообразно-скучныя картины чередовались предъ ея глазами, а въ усталой головѣ свѣтлыми и темными призраками воскресали другія картины, другая Ина Лерская, не теперешняя, пожившая и много испытавшая на своемъ вѣку, женщина съ чудомъ сохраненной душой ребенка и съ дѣтскими ищущими глазами на помятомъ жизнью лицѣ, а прежняя, маленькая Ина воскресла въ ея памяти.

II.

Большой бѣлый домъ, полный радости, свѣта и тепла; комфортъ и просторъ. Отъ самыхъ стѣнъ какъ будто вѣетъ жизнью и смѣхомъ. А внутри его тотъ же смѣхъ, та же радость. Молодежь, молодежь и молодежь: молоденькія свояченицы, молоденькія кузины, ихъ братья. И среди всѣхъ этихъ дѣвушекъ и юношей центральная, чрезвычайно интересная фигура—самъ хозяинъ дома, молодой военный юристъ-вдовецъ. Его жена умерла при родахъ, подаривъ ему маленькую Ину. Вокругъ него ореолъ ранней поэтичной скорби, вѣчная разлука въ самый расцвѣтъ счастья съ юной хорошенькой женой. Умершая была и осталась грезой, туманной грезой его первой любви. Воспоминаніе о ней и даръ покойной въ лицѣ малютки Ины скрашиваютъ горе. А кругомъ пышно

цвѣтетъ сказка молодости, окружающая его. Молодой вдовецъ добръ и великодушенъ, семья покойной жены бѣдна, но въ бѣломъ домѣ всѣмъ нашлось мѣсто.

Маленькая Ина ростетъ среди этихъ тетокъ, кузинъ, дядей, какъ принцесса среди своихъ подданныхъ, не зная отказа буквально ни въ чемъ. Ее балуютъ, нѣжатъ и холятъ до предѣловъ возможнаго. У нея уже есть идеалъ—ея отецъ. Онъ ей кажется титаномъ, полубогомъ; любовь къ нему доходитъ до болѣзненной страсти у этой не совсѣмъ обыкновенной дѣтской души. У дѣвочки пытливый умъ, пытливые глаза и пытливое сердце. Оно заполнено до краевъ ея отцомъ. Ина дѣлиться не можетъ, не умѣетъ—онъ, одинъ онъ. Онъ солнце и свѣтъ ея жизни, онъ для нее—все.

* * *

Кто эта женщина съ черными волосами?

Въ бѣломъ домѣ балъ. Военный оркестръ гремитъ въ залѣ. Носятся, какъ сильфиды, молоденькія свояченицы и кузины, звенитъ шпорами офицерская молодежь. За всѣмъ этимъ слѣдитъ худенькая дѣвочка, утонувшая въ кружевныхъ воланахъ. Ея пытливые глаза устремлены впередъ. Онъ—ея богъ, ея папа—кружится, держа въ объятьяхъ черноволосую странную дѣвушку съ аристократически тонкимъ лицомъ и строгими глазами. И что-то колетъ, больно сжимаетъ маленькое сердце Ины.

— Ина, дитя мое, гдѣ ты? Тебя ищетъ всюду твоя будущая мать!

Черноволосая дѣвушка протягиваетъ узкую, холеную

руку. У нея ногти—какъ розовыя конфекты, и тонкимъ ароматомъ вѣетъ отъ нея. Какими кухарками кажутся предъ нею молоденькія свояченицы и кузины!

А ночью маленькая Ина рыдаетъ, зарывшись въ подушки:

— Боже! Великій! Сдѣлай чудо!.. Сдѣлай такъ, чтобы „черная дѣвушка“ не вошла въ бѣлый домъ!

Но Богъ не пожелалъ проявить чуда. Отецъ женился. Ину отдали въ институтъ.

* * *

Она видитъ, какъ во снѣ, длинный дортуаръ въ казенномъ домѣ. Ряды кроватей, жесткихъ матрацовъ и смутно бѣлѣющихъ въ полумракѣ подушекъ и простынь. Всѣ спятъ. Луна глядитъ въ широкія окна. Сквозь бѣлыя шторы пробираются ея млечные лучи.

Босая, въ длинной, безобразно-грубой ночной рубашкѣ Ина стоитъ у окна, исхудалое личико обращено къ лунѣ. За бѣлой шторой ихъ двое: она и Алочка Истомина изъ старшаго класса. Алочка еженощно приходитъ на свиданіе за бѣлую штору къ пятнадцатилѣтней Инѣ. Алочка старше ея; у нея жадные ищущіе глаза и вѣки, оттѣненныя синевой; она уже знаетъ ядъ запретныхъ поцѣлуевъ и тайну міра въ теоріи постигла она.

— Ина,—шепчетъ Алочка и сжимаетъ тонкіе пальчики Лерской холодными, влажными руками.—Ина, я люблю тебя страстно, и—клянусь тебѣ—одну на всю жизнь. Клянусь тебѣ, ни одинъ мужчина въ мірѣ не овладѣетъ мною. Я буду всегда носить твой образъ въ

моемъ сердцѣ. Мужчины, ихъ страсть—все это такъ грязно!.. Ина, обѣщай, что и ты будешь любить меня.

— Да, это—святая, чистая любовь,—вторитъ дрожащій голосокъ нервной, впечатлительной дѣвочки и ея ищущіе, восторженные глаза впиваются въ блѣдное лицо подруги.—Когда ты говоришь такъ, Ала, мнѣ кажется, что я слышу голосъ неба. Да, это—его пѣсня въ твоихъ рѣчахъ. И за нее я тебя полюбила крѣпко... Ахъ, на землѣ такъ скучно, такъ темно!

Въ сосѣдней съ дортуаромъ умывальнѣ слышатся шаги классной дамы. Дѣвушки разбѣгаются въ разныя стороны.

Ина не спитъ до утра; она пишетъ стихи въ честь Алы, и ея сердце бьется тревожнымъ боемъ первой неизвѣданной страсти.

Выпускъ... трогательное прощаніе съ подругами, съ придирчивыми, скучными „дамами“, съ оставшейся въ пепиньеркахъ Алочкой—и Ина снова въ родительскомъ домѣ.

Но тамъ теперь царство другой женщины, отвоевавшей у нея сердце отца,—молодая мачеха, новые братья, сестры, новая жизнь.

Мятущаяся, ищущая душа дѣвушки бьется, какъ раненая птица. Звенитъ въ ея сердцѣ глухой протестъ. Жизнь такъ буднична и пуста!.. Если нѣтъ объекта любви, глубокой и нѣжной, надо отдать себя служенію обществу, искусству, какому бы то ни было богу. Вѣчной красотѣ.

* * *

Откуда онъ взялся, этотъ тоненькій офицеръ съ полуопущенными вѣками, какъ у Гейне, изнѣженный, женственный, оригинальный? Онъ говоритъ, какъ поэтъ, красивыми фразами объ общечеловѣческомъ счастьѣ и пишетъ смѣлые, восторженные стихи. Смущенная Ина читаетъ ему свои первыя наивныя пѣсни, сонеты, показываетъ давно, давно, еще съ института, начатый дневникъ.

Изъ-подъ полуопущенныхъ вѣкъ „Гейне“ падаютъ глубокіе, мерцающіе взгляды. Тоненькая дѣвочка своими страстными строками умѣетъ зажечь душу большимъ огнемъ. Говорятъ много: говорятъ объ искусствѣ, потомъ о любви—о любви „новой“, неиспользованной, необыкновенной, о любви, зарожденной поэзіей, высшими эмоціями отмѣченныхъ душъ.

Образъ нѣжно влюбленной Алочки блѣднѣетъ въ представленіи Ины и таетъ понемногу. Онъ расплывается въ душѣ Ины, какъ въ туманѣ, а на мѣстѣ его начинаетъ расти новая любовь.

— Я люблю тебя... я люблю тебя!.. Ты—музыка... ты отголосокъ далекаго неба... Милый! милый! Съ тобою не страшна жизнь!—такъ говоритъ наканунѣ свадьбы тоненькая дѣвушка съ ищущей, страстной, мятежной душой.—Мы сдѣлаемъ счастливыми людей, окружающихъ насъ... этихъ бѣдныхъ солдатъ, отупѣлыхъ, несчастныхъ, забитыхъ своимъ собственнымъ ничтожествомъ. Мы поднимемъ ихъ до высокаго уровня людей. Будемъ стремиться узнавать ихъ ближе, будить ихъ интеллектъ, раздувать въ нихъ сознаніе ихъ гордаго человѣческаго „я“ учить ихъ. Правда? Правда?

— Крошка моя! Ты—самъ альтруизмъ! Ты—божественная искорка. Ты—радость міра!

Изящный офицеръ не нуждается въ подыскиваніи словъ, они льются изъ его устъ неудержимымъ потокомъ. Отъ нихъ разгорается душа дѣвушки, а отъ первыхъ мужскихъ поцѣлуевъ — нетронутое, дѣвственное тѣло...

Это была роковая ошибка, и всю свою послѣдующую жизнь раскаивалась Ина въ ней.

Изящный мечтатель съ вѣками Гейне, трактующій о благосостояніи ввѣренныхъ его попеченію людей, слагающій въ честь альтруизма звонкія и пустыя фразы, проявилъ себя съ первыхъ же дней брака отъявленнымъ развратникомъ, кутилой и эгоистомъ.

Мечущаяся душа Ины не знала покоя. Не того ожидала она отъ своего избранника. Вмѣсто „пѣсенъ неба“ звучала въ ихъ совмѣстной жизни глухая, мерзкая брань...

Къ счастью родилась Ната. Безумная любовь къ дѣвочкѣ бурно и прочно захватила Ину. Забравъ дочь, она ушла изъ этого притона разврата, въ которомъ ее, оскорбленную въ первомъ дѣвичьемъ чувствѣ, заставляли играть не послѣднюю роль, ушла, добилась полнаго развода, добилась отдачи ей ребенка, захваченнаго мужемъ, и возвращенія своей дѣвической фамиліи, добилась всего.

Что было потомъ?

Молодое, страстное тѣло искало ласки, но глухо протестовала душа. Хотѣлось высокихъ наслажденій на почвѣ духовныхъ сліяній, избранныхъ чувствъ; хотѣ-

лось неба—его звучныхъ и стройныхъ пѣсенъ, музыки незримаго органа, внимая которой отдохнула бы ея усталая душа.

Были истинныя увлеченія. Ее любили страстно, ненасытно. Чуткая, пылкая дѣтская душа Лерской въ соединеніи со страстнымъ, далеко не израсходованнымъ тѣломъ, притягивала къ себѣ. Но длительныя страстныя увлеченія несли за собой долгіе укоры разочарованія и горькій осадокъ. Земнымъ и пошлымъ концомъ заканчивались они.

И вотъ явился Евгеній...

Въ то время она, Ина, уже была „извѣстностью“ въ нѣкоторомъ родѣ. Выбранное ею ремесло ради хлѣба, съ цѣлью прокормить Нату, зажгло ея душу неугасимымъ огнемъ. Изъ простой сотрудницы „Свѣтлаго Вѣстника“ она стала постоянной фельетонисткой газеты. Ея статьи читались молодежью нарасхватъ. Въ нихъ она горячо отстаивала интересы молодого поколѣнія, какъ дерзкій, отважный боецъ, выступала на борьбу за нихъ.

Вскорѣ ее пригласили редактировать изданіе. Въ то же время нѣсколько выпущенныхъ идейныхъ романовъ дали Лерской имя, и ея счастливая звѣзда зажглась.

— Ина! Неужели не узнаете? Въ вашъ бѣлый домъ, помните, меня привозили, съ сестрами Нютой и Вѣрой...

Передъ Лерской высокій, гибкій, какъ лоза, молоденькій драгунъ. Черные глаза восточнаго колорита, красивое лицо, на-бокъ причесанные волосы. У Ины какое-то предубѣжденіе противъ „военщины“. Но въ задумчивыхъ глазахъ юноши столько нѣги и ласки, столько

энергіи и ума! И такъ мало подходитъ къ нему этотъ фатовато кричащій драгунскій мундиръ, узкій и пестрый!..

— Кузенъ Женя!.. Васъ не узнать. Вы выросли, похорошѣли!

Онъ смѣется, обнажая бѣлые зубы. Его мягкій юношескій баритонъ пріятно ласкаетъ слухъ.

— Фея бѣлаго дома, вы остались та же. Судя по страстнымъ фельетонамъ, все еще мечтаете передѣлать міръ на свой надъ. У насъ, въ провинціи, зачитываются вами.

Евгеній говорилъ простыя фразы, но сердце Ины, захолодѣвшее отъ пошлости окружающихъ ее поклонниковъ и искателей, ловитъ въ его словахъ нотки нетронутости и чистоты.

— Милый Женя! Какъ вы прожили всѣ эти годы?

Троюродный братъ разсказываетъ. О, и ему немало пришлось пережить! Военное училище, жизнь въ полку, кутежи, попойки и женщины, женщины, женщины.

— Ихъ было много—не перечесть! Но зато теперь я пережилъ свою молодость и остепенился, — серьезно заключилъ онъ.

„Онъ остепенился, этотъ мальчикъ!“—думаетъ Ина.

Но—нѣтъ!– есть что-то увѣренное въ тонѣ этого „мальчика“, что-то побѣждающее собственную слабость, и не вѣрить ему нельзя.

— А помните, какъ я выдрала васъ за уши въ дѣтствѣ? вамъ было тогда десять лѣтъ, мнѣ—восемнадцать,—смѣясь, напоминаетъ она.

— А за что? Сказать?—Его черные глаза смѣло оста-

навливаются на ея лицѣ, заглядываютъ въ мерцающую пучину говорящаго, помимо воли, пронизывающаго взгляда Ины.—Вы были тогда невѣстой. Я только что поступилъ въ корпусъ. Я поцѣловалъ ленту вашего пояса тамъ, на балу. Вы были моею первою любовью, Ина...

— Красивый мальчикъ! вы говорите чепуху!—и она разсмѣялась тогда, впрочемъ, не совсѣмъ естественнымъ смѣхомъ!

Но она перестала смѣяться, когда эти черные глаза, длительно нѣжащіе, обѣщающіе цѣлый міръ безграничной преданности и ласки, подолгу потомъ останавливались на ней. Чтобы добиться ея любви, Евгеній бросилъ полкъ, измѣнилъ весь строй своей жизни, сталъ усидчиво заниматься науками, бросился въ университетъ.

— Я хочу быть аристократомъ духа, тѣмъ человѣческимъ индивидомъ, типъ котораго сквозитъ въ каждой строкѣ вашихъ статей,—часто говорилъ онъ Инѣ, и его краснорѣчивые глаза безъ словъ договаривали остальное.

* *
*

— Будьте моей женой, Листикъ, мальчуганчикъ милый, и я обѣщаю вамъ счастье, равнаго которому нѣтъ на землѣ.

Нѣтъ, нѣтъ! невозможно это! невозможно погубить его, этого свѣтлаго, радостнаго, молодого, духовно уцѣлѣвшаго на-диво, несмотря на бурно проведенную юность!

Вѣдь ея мятущаяся душа капризна и податлива на всякія впечатлѣнія—нервная, впечатлительная душа поэта,

душа взрослаго дитяти, не отвѣчающая ни за одинъ мигъ.

Погубить его рыцарскую душу легко. Цвѣтокъ мимозы, утренняя звѣзда, свѣжій весенній потокъ—вотъ что съ нею аналогично!

— Нѣтъ! Нѣтъ! Только не замужество! Нѣтъ! Нѣтъ!—отвѣтила Ина.

Но Евгеній не добивался ея и какъ женщины, нѣтъ! Впечатлѣнія дѣтства вкоренились въ его душу прочно, навѣки. Ина казалась ему царицей со своей нетронутой душой ребенка и поэта, и такою осталась жить въ его душѣ и теперь.

— Но когда-нибудь вы же станете моей женою?—допытывался онъ.

Вотъ она, поэзія нетронутаго счастья! Вотъ она, чарующая красота!..

— Женя! Милый! Учитесь, кончайте университетъ, а потомъ... Посмотримъ!

— Вы—моя невѣста,—рѣшилъ онъ тогда же, властно захватывая ея руки и поочередно цѣлуя ихъ,—и для вашего счастья я пойду на все.

Съ этого дня они стали почти неразлучны. Евгеній Александровичъ жилъ только Иной, ея жизнью, ея интересами, ея семьей: онъ дежурилъ въ дни болѣзней у постели ея или Наты. Онъ замѣнялъ дѣвочкѣ въ часы отсутствія Лерской мать, занимался съ ребенкомъ. Онъ былъ первымъ другомъ Лерской и ея дочери.

А годы шли... И жизнь улыбалась обоимъ, пока не случилось „это“...

III.

Проводникъ поднялъ верхнія мѣста, постлалъ на ночь постели. Въ сосѣднемъ купе говорили, что ночью проѣдутъ Вильно и въ Вержболовѣ будутъ около шести утра.

Купчиха Ситина сидѣла, повернувшись къ окну, накрывъ косынкой голову, и, тупо глядя въ уголъ, читала молитвы. Въ проходномъ корридорчикѣ Зиночка Клокъ флиртовала съ красивымъ пруссакомъ, таявшимъ, какъ сахаръ, и съ молодымъ евреемъ-коммерсантомъ, говорившимъ на десяти языкахъ, съ эсперанто включительно, какъ онъ во всеуслышаніе увѣрялъ свою даму. Позднѣе, къ ночи, когда купчиха уже спала со строгимъ видомъ монашки, поджавъ во снѣ толстыя губы, а Лерская маялась отъ толчковъ поѣзда и жесткаго изголовья, Зиночка Клокъ влетѣла въ купе.

— Вообразите, душечка,—затрещала она, вспугивая своимъ звонкимъ голосомъ тотчасъ же проснувшуюся Ситину,—а паспортъ-то у меня будетъ! И зайцемъ черезъ границу не надо скакать. Пруссакъ-то мой совсѣмъ растаялъ, какъ леденецъ. Говоритъ, что у нихъ, въ Берлинѣ нѣтъ такихъ изящныхъ женщинъ, и... обѣщалъ меня провезти, какъ свою жену, благо въ паспортѣ-то у него помѣчено „mit der Gemahlin“ *), его законная половина отказалась ѣхать въ послѣднюю минуту... Россіи, видите ли, испугалась. А мнѣ это и на руку. Чудесно, какъ все складывается, восторгъ! Я сейчасъ поцѣловала нѣмчика за это.

*) Съ супругой.

— И вамъ не стыдно?—усмѣхнулась Лерская.

— Нисколько! Мой девизъ—не зѣвать, извлекать выгоду, гдѣ должно и не должно.

— Недурное правило, я вамъ доложу.

— Еще бы!

— А вы, барынька, потише. Спать хочется!—соннымъ голосомъ прервала Зиночку купчиха.

— Молчу-у...

* * *

Остановились на станціи. Постояли минутъ десять и тронулись снова. Ситина спала снова. Спала и Зиночка, небрежно закинувъ подъ голову пухленькія бѣлыя ручки.

Картины недавняго прошлаго снова, какъ докучливыя мухи, зароились пестрымъ роемъ предъ мысленнымъ взоромъ Ины. Она словно грезила наяву.

То было прошлымъ лѣтомъ. Весенняя бѣлая ночь таила свои радостныя улыбки. Праздничной казалась природа подъ покрываломъ сочной зелени, обрызганной росой. Улыбалось ночное небо, улыбалась весенняя земля. Сказка, разлитая въ природѣ, отражалась и на лицахъ людей, смягченныхъ ея красотою.

Былъ уже второй часъ ночи, когда Ина Лерская подкатила на хорошенькомъ автомобилѣ доктора Курцева къ жалкой станціи Приморской дороги. Но сегодня, въ эту свѣжую весеннюю ночь, и сама станція выглядывала какъ-то наряднѣе, ярче.

По платформѣ сновали телеграфисты съ барышнями

изъ новодеревенскаго почтамта, гимназисты, только что сдавшіе, болѣе или менѣе удачно, переходные экзамены, и цыгане изъ Новой Деревни. Несложный, примитивный флиртъ висѣлъ какъ будто въ самомъ воздухѣ, на теплой груди весенней природы. Смѣхъ „вокзальныхъ“ барышень, обычно пошленькій, заученный и жеманный, сегодня казался раздражающимъ, русалочьимъ, полнымъ значенія и красоты.

Весь этотъ день Лерская до переутомленія работала за своимъ редакціоннымъ столомъ, не выходя изъ конторы. Надо было пробѣжать корректуру, набросать передовицу, приготовить четверговый фельетонъ. Было душно въ редакціи, несмотря на раскрытыя окна. Около двѣнадцати ночи за Иною заѣхалъ ея вѣрный другъ и поклонникъ, докторъ Курцевъ, профессоръ въ недалекомъ будущемъ, некрасивый, умный маленькій человѣкъ, выкрестъ изъ семитовъ, платоническій вздыхатель Ины, какъ о немъ говорили въ кружкѣ Лерской, но въ сущности искренній другъ ея семьи. Онъ отвоевалъ у Ины невинное право изрѣдка провожать ее на своемъ автомобилѣ до вокзала Приморской дороги. Тамъ они разставались: она ѣхала въ Сестрорѣцкъ, а Курцевъ—въ Шувалово, къ себѣ на дачу. Онъ заѣхалъ за нею по обыкновенію и сегодня.

По дорогѣ болтали, какъ дѣти.

— У васъ зеленые глаза,—шутилъ докторъ.—Вотъ Женя вашъ вамъ этого никогда не говорилъ. Кстати о Женѣ... Удивительно мало вы подходите другъ къ другу!

Праздничное, несмотря на усталость, настроеніе не

исчезло изъ души Ины; легкое опьянѣніе отъ «захвата» работы, знакомое творческое опьянѣніе не проходило у нея и сейчасъ.

— Неправда, неправда! Женя и я—одно и то же!—отпарировала она со смѣхомъ.

„Пріѣду на дачу, писать буду... всю ночь до разсвѣта писать... Надо вторую главу „Лѣсныхъ людей“ окончить... У Наты желтые ботинки порвались... И къ Троицѣ ей необходимо сдѣлать еще бѣлый пикейный костюмъ,—плыли мысли въ головѣ женщины, въ то время какъ вслухъ она выговаривала ненужныя слова, не считаясь съ настроеніемъ своего спутника.

— У насъ въ редакціи прибавилось хорошенькихъ женщинъ. Корректорша новенькая—совсѣмъ Дездемона. Наша прежняя корректорша—Смирнова совсѣмъ измучилась. Бѣдная, шестого ребенка ждетъ.

Мальчишка съ розами, встрѣтившій ихъ на мосту, сдѣлалъ попытку бѣжать за моторомъ. Дали знать шоферу остановить машину, и докторъ купилъ все, что было у мальчика.

— Вы—не еврей... совсѣмъ не еврей!—засмѣялась Ина,—тѣ очень, очень разсчетливы, а вы—нѣтъ.

— А у васъ мальчишескій видъ и зеленые глаза! И не смѣйте говорить дерзости старшимъ!—смѣясь, воскликнулъ докторъ.

* * *

Въ вагонѣ они оказались только вдвоемъ. Курцевъ снова заговорилъ о Нераевѣ.

— Это будетъ неудачный бракъ...

— Докторъ, я разсержусь.

— Милая, не надо! Я отъ души желаю вамъ счастья,—и, наклонившись къ рукѣ Ины, поцѣловалъ ее нѣсколько разъ подъ рядъ.

— Перестаньте! Сюда идутъ!

Дверь отдѣленія раскрылась такъ стремительно, что Курцевъ не успѣлъ отскочить, и рука Ины такъ и осталась лежать въ его рукѣ.

Въ ихъ отдѣленіе вошелъ новый пассажиръ. Быстрымъ, незамѣтнымъ, бѣглымъ взглядомъ наблюдателя Ина окинула по привычкѣ всю его фигуру. Большое, широкое тѣло, высокія плечи и грудь; голова подъ фуражкой гражданскаго инженера; нѣсколько топорно вылитое, грубовато-красивое лицо со здоровымъ колоритомъ степняка-провинціала или типа ибсеновскаго или гамсуновскаго героя, человѣка лѣса, моря, степей и горъ. Нѣсколько дерзкій взглядъ свѣтлыхъ глазъ, хищныхъ, какъ у ястреба; рыжеватые усы блондина, сочныя, яркія губы... Здоровьемъ, мощью и избыткомъ жизни вѣяло отъ всего существа.

— Великолѣпный экземпляръ самца!—проговорили губы Ины чуть внятно, когда высокая, статная фигура скрылась за дверью смежнаго купе, и добавила съ тихимъ смѣхомъ:—не выношу блондиновъ и инженеровъ. Что прикажете дѣлать! Да!

— Но и брюнеты-врачи не пользуются у васъ повидимому успѣхомъ,—сострилъ докторъ, снова склоняясь къ ея рукѣ.—А вы не сердитесь, что я вмѣшиваюсь въ

ваше семейное дѣло?—спросилъ онъ, глядя на Лерскую своими добрыми глазами.

Сквозь стеклянную дверь вагона на нихъ смотрѣлъ съ непонятной настойчивостью высокій инженеръ. Онъ тихо напѣвалъ что-то.

— Перестаньте же, докторъ, онъ видитъ,—вырвала изъ рукъ Курцева свою руку Ина.

— Ахъ, Создатель мой! Да на что же тогда и даны ему глаза?

Просвистѣлъ свистокъ паровоза, Курцевъ, едва успѣвъ выскочить изъ вагона, спрыгнулъ на дебаркадеръ. Поѣздъ медленно потянулся вдоль платформы.

Ина положила щегольски обутыя ноги на противоположную скамейку, оправила шуршащія юбки, сбросила неуклюжую модную шляпу и, примостившись поудобнѣе, закрыла глаза.

„Засну до Сестрорѣцка!"—мирно подумала она.

Представилась Ната—не по лѣтамъ серьезная Ната, обожающая книги и спортъ, Ната въ короткой юбочкѣ съ рекеткой отъ тенниса, со своимъ умнымъ личикомъ и вздернутыми бровями. Любовь къ дочери была чѣмъ-то въ родѣ культа въ душѣ Ины. То, что переживала она по отношенію своего отца тогда, въ далекомъ дѣтствѣ, все перешло на эту дѣвочку, серьезную, неласковую по виду, замкнутую въ себѣ. За Нату Лерская отдала бы, не задумываясь, жизнь. Когда опасно болѣла скарлатиной Ната, смерть стояла за плечами и самой Ины. Послѣдняя не отходила отъ постели дочери, не позволяя никому касаться пылающаго тѣльца дѣвочки, а въ ея столѣ

въ то же время лежала приготовленная на случай натиной смерти шоколадная лепешка съ заключенной въ ней дозой ціанистаго калія.—Съ послѣднимъ вздохомъ дѣвочки должна была оборваться и жизнь Ины. Такъ она рѣшила давно.

* * *

Картина близкаго прошлаго... Упоительно прекрасная картина!..

Ей еще разъ приходится снова пережить все.

Бѣлая весенняя ночь, та, ушедшая въ прошлое, ночь улыбалась попрежнему.

Легкій шорохъ привлекъ вниманіе Лерской. Она открыла глаза. Прямо противъ нея стоялъ инженеръ, смотрѣлъ ей въ лицо дерзкими, вызывающими глазами, чуть улыбаясь кончиками своихъ яркихъ, здоровыхъ губъ.

„Точно лошадь разглядываетъ со всѣхъ сторонъ. Фу, ты, мерзость какая!“ — возмущенно поднимался со дна души женщины глухой протестъ, и инстинктивнымъ движеніемъ она опустила ноги, оправила юбки.

Уже не спуская съ нея взора, мимо снова прошелъ инженеръ.

„И чего мечется! Только спать мѣшаетъ. А похожъ на поручика Глана“,—невольно подумала она и вдругъ замерла сразу.

Изъ сосѣдняго купе полилась пѣснь. Заунывно тягуче бросала она свои звуки, лѣниво, какъ бы нехотя, навстрѣчу бѣлой ночи, въ открытое окно. Это была тоскливая малороссійская пѣснь, полная клокочущей, на-

кипѣвшей вѣками грусти и тоски по свободѣ, звучащая отголоскомъ далекихъ-далекихъ временъ. Изъ самыхъ звуковъ выходили стройною толпою образы, выплывали картины: запорожская сѣчь... чубатыя казачьи головы, шрамы во всю скулу, слѣдъ кривой татарской либо турецкой сабли; сонныя воды Днѣпра и ковыль, степной ковыль, вотъ о чемъ говорилось въ ней. Волей, широкой волей, запорожскимъ казацкимъ кругомъ вѣяло отъ этой пѣсни; прадѣдовскою удалью, безшабашной отвагой и духомъ свободы, гордой человѣческой свободы была полна она во всѣхъ своихъ звукахъ, мятежныхъ, надломленныхъ и грустныхъ, какъ сама тоска.

Высокій инженеръ пѣлъ, мало заботясь, казалось, о томъ, слушаетъ ли его, или нѣтъ сонная барынька въ сосѣднемъ отдѣленіи. Но сердце Ины уже трепетало, о недавней сонливости не было и помина. Вставали образы далекой древности, какъ туманныя картины, неясныя и таинственныя въ волшебномъ фонарѣ. Сливались съ бѣлой ночью, полной очарованья, бродили подъ звуки ея новыя идеи въ головѣ, новыя мысли, навѣянныя пѣснью. Знакомое чувство творческаго наплыва толкалось въ грудь; потянуло къ столу, къ перу, къ работѣ. Знакомый зудъ творчества заработалъ тревожно. Пропадала женщина, нарождался робкій, несмѣлый, влюбленный въ новую мечту поэтъ. Что-то пѣло въ унисонъ пѣснѣ и въ душѣ Ины, что-то тянулось въ ней къ этому надрывающемуся, какъ рыданье, голосу, тоскующему по широкимъ малороссійскимъ степямъ, по тихимъ водамъ Днѣпра, по умершимъ навѣкъ призракамъ старины.

И вдругъ нелѣпо и неожиданно на дрожащей отъ волненія нотѣ круто оборвалась пѣснь.

— Я васъ, кажется, безпокою?—послышался тотчасъ мягкій, чуть дрогнувшій голосъ, и высокая фигура выросла въ дверяхъ.

„Какая пошлость! Недостаетъ еще, чтобы онъ присталъ!.. И почему онъ не поетъ больше?“—почти со злобой подумала Ина и съ откровенной враждебностью взглянула въ свѣжее, красивое, самоувѣренное лицо.

— Почему вы замолчали? Пойте же, пойте, ради Бога... Еще, еще и еще!

* * *

Какъ-то вовсе не странно, а просто и понятно, получасомъ позднѣе они сидѣли другъ передъ другомъ и болтали, точно были знакомы уже нѣсколько лѣтъ.

— Рекомендаціи не надо—я и безъ нея васъ знаю,— безпечно смѣялась Лерская: — вы — хохолъ, настоящій степной хохолъ, изъ-подъ „Пилтавы“, и пріѣхали къ намъ, на сѣверъ, поневолѣ, и привезли съ собою и запахъ вишневыхъ садочковъ, и пару горячихъ галушекъ вмѣстѣ съ душнымъ хмелемъ черныхъ украинскихъ ночей. О, я знаю ваши дивныя ночи! Звѣзды у васъ особенныя, выпуклыя на черномъ бархатѣ неба; и дѣвушки ваши нехитро-милыя, красивыя Оксаны и Марусеньки съ пѣвучими голосами, съ глазами, какъ ягоды черешни, сладко и сочно цѣлующіяся съ парубками въ высокихъ ковыляхъ!..

Свои слова Ина бросала легко и просто, хотя она

была смущена. Глаза ястреба смотрѣли слишкомъ хищно, слишкомъ детально разглядываютъ ея тоненькую фигурку „мальчишки“ и декадентски растрепанную голову съ пышнымъ боковымъ начесомъ волосъ.

— Вы говорите, какъ поэтъ,—улыбнулся инженеръ подъ свѣтлыми усами.

— Нѣтъ ничего удивительнаго. Я—немножко пописываю...

— А ваше имя, это не будетъ нескромностью съ моей стороны?

— Лерская,—бросила она небрежно, заранѣе увѣренная въ томъ, что онъ скажетъ сейчасъ: „Какъ? неужели? Не можетъ быть!.. Та самая, которая... Фельетоны... романы... Такая еще молодая!.. Я представлялъ себѣ, читая васъ, что вы—старуха,—словомъ, всѣ тѣ шаблонныя фразы, много разъ слышанныя ею отъ другихъ людей, типичныя обывательскія фразы.

Но инженеръ молчалъ. Имя Лерской, казалось, ничего не говорило ему.

— Ха-ха-ха!—чистосердечно расхохоталась Ина,—слава Тебѣ, Господи! Впервые встрѣчаю человѣка, относящагося къ мнѣ, какъ къ простому знакомому, хотя бы случайному, а не какъ къ вывѣскѣ „Свѣтлаго Вѣстника“, чему-то въ родѣ средства отъ мозолей или выпаденія волосъ.

— Такъ вы—редакторъ „Свѣтлаго Вѣстника“?

— Именно, ваше превосходительство,—дурачась пробасила Ина,—фельетонистка, романистка и плохой поэтъ... въ сущности же теплый парень, увѣряю васъ!

— И эсъ-эрка конечно?

— Всенепременнѣйше—„Свѣтлый Вѣстникъ“ послѣдній изъ могиканъ... А вы—ка-детъ?

— Почему вы думаете?

Его глаза засмѣялись ярче; онъ придвинулся и взялъ было руку Ины.

— Но... но... полегче... Или я вамъ выцарапаю глаза, господинъ инженеръ!

Тоненькія руки Лерской въ перчаткахъ пришлись совсѣмъ-совсѣмъ близко къ его лицу. Представилась возможность схватить эти руки и поцѣловать. Но „хохолъ“ не сдѣлалъ этого, а только улыбнулся, съ явнымъ поощреніемъ глядя на нее.

— Ба! Да у васъ роскошные зубы!—восхищенно воскликнула Ина.

— А у васъ стройная, изящная фигурка и задорное, интересное лицо. Но вы устали?

Въ звукахъ его голоса пробудилась нѣкоторая нѣжность.

— У меня всегда такой видъ! Я слишкомъ впечатлительна, слишкомъ жадно впитываю въ себя жизнь. Я гоняюсь за бурями и ненавижу тишину, — разсмѣялась Ина.—Совсѣмъ полная противоположность вамъ, хохлу и ка-дету. Я обожаю свободу, какъ стимулъ міровой побѣды, какъ послѣднее и совершеннѣйшее завоеваніе людей!

— Ого!

— Не смѣйте говорить со мною, какъ съ ребенкомъ! Еще два-три года назадъ, когда движеніе не было раз-

давлено вполнѣ тяжелой пятой реакціи, я мечтала умереть на баррикадахъ за идею и своимъ примѣромъ еще лишній разъ подчеркнуть, что жизнь единицъ—вздоръ въ сравненіи съ общимъ достиженіемъ строевой цѣли. А у меня есть дочь... Понимаете? И я не задумываясь подарила бы ее революціи, если бы она сознательно понимала наше стремленіе завоевать свободу, благо нашему народу.

— Ахъ, Ты, Боже мой, сколько экзальтаціи!—улыбнулся инженеръ и, воспользовавшись перерывомъ своей собесѣдницы, началъ излагать свои взгляды.

Онъ—ка-детъ, но не изъ слѣпого подражанія модѣ, а по твердому, хорошо продуманному убѣжденію. Если есть будущее у какой-либо партіи, то только у ка-детовъ. Остальное—чепуха. Надо быть дѣтьми, чтобы думать о красныхъ флагахъ, баррикадахъ, уличныхъ демонстраціяхъ, какъ о вѣрномъ оружіи боя. Тактика кадетовъ—степенная, непылкая, уровновѣшенная—ему всего понятнѣй.

— И безопаснѣе!—вставила не безъ ироніи Ина.

— И безопаснѣе, если хотите,—улыбнулся онъ.—Съ какой стати лѣзть напроломъ, разбивать собственными лбами стѣну, когда можно обойти кругомъ, безъ препятствій, хотя и нѣсколько больше потративъ времени на этотъ путь?

„О-о, животное! буржуй!—мысленно награждала его нелестными эпитетами Ина,—буржуй, устроившійся гдѣнибудь на доходномъ мѣстѣ и заботящійся о своихъ рабочихъ столько же, сколько о прошлогоднемъ снѣгѣ. А я еще думала, что онъ—гамсуновскій герой!“

— Нѣтъ, нѣтъ, вы—не поручикъ Гланъ!—вырвалось у нея порывисто и сердито.

— Кто?—не понялъ инженеръ.

— „Пана“, гамсуновскаго „Пана“ вы читали? Тамъ есть лѣсной человѣкъ, поручикъ Гланъ, ушедшій отъ „жизни“ въ лѣсной міръ, на грудь природы. Здоровый духомъ и тѣломъ Гланъ, такой же, какъ вы, вотъ съ такимъ же сильнымъ тѣломъ, съ бѣлыми, крѣпкими, какъ у звѣря, зубами, съ этакой же шапкой волосъ на головѣ. Снимите фуражку, я хочу видѣть ваши волосы. Такъ и есть!.. и у Глана, должно быть, были такіе же. Но душа у него была другая. Онъ жилъ заодно съ народомъ, хотя и вдали отъ него.

— А вы—оригинальная женщина!.. И почему вы—не вѣчная курсиха?

— Какъ?

— Не вѣчная курсиха въ неряшливой жакеткѣ, а хрупкое, изящное существо! — продолжалъ онъ, своими дерзкими, красивыми глазами откровенно любуясь Иною.—А вѣдь вы со своей экспансивностью были бы эффектны на трибунѣ!

— Ужасно!.. Читаю въ скобкахъ: „Я, инженеръ“... Ваше имя?

— Даніилъ Николаевичъ Клочевскій,—поторопился онъ назвать себя.

— Итакъ, „Я, Даніилъ Клочевскій, ненавижу эмансипированныхъ женщинъ, рвущихся въ революціонную толпу. Призваніе женщины — бракъ. „Kirche, Kinder und Küche“. Слабое, хрупкое существо, что-то среднее между

куколкой и комнатной болонкой, созданное для утѣхи своего властелина. Мужчина, по-вашему,—символъ мощи, власти, равновѣсія и непобѣдимости, женщина — хрупкости, нѣжности, обаянія и покорности. Дитя мое, въ какомъ мы вѣкѣ живемъ?

— Очаровательнѣйшая старушка, вы, кажется, изволите высказывать мысли за другого? экспропріируете меня въ духѣ истинной эсъ-эрки? — разсмѣялся инженеръ, блестя разгорѣвшимися глазами.

— Молчите!.. Мужъ это—покровитель домашняго очага. Воплощенный древній щуръ, если хотите. Онъ требуетъ жертвъ, онъ жестокъ. И женщина—жена—несетъ ему эти жертвы—свое тѣло. Сначала это тѣло ласкаютъ, потомъ уродуютъ беременностью, потомъ, когда оно отцвѣтетъ и увянетъ, господинъ властитель ищетъ другой жертвы посвѣжѣе, понарядиѣе, а жена... о, она или тоже измѣняетъ украдкой, или замыкается въ сѣрую, однородную, гадко-тоскливую жизнь... уходитъ въ дѣтей, въ хозяйство. Это—судьба женщины вашего взгляда. Но нѣтъ, нѣтъ!.. Революція смыла гниль застарѣлыхъ традицій, подняла женщинъ наравнѣ съ мужчинами, дала мученицъ въ цѣломъ рядѣ политическихъ узницъ и жертвъ. Революція освятила женщину, дала ей возможность вырваться изъ этого архаическаго института брачной тюрьмы, открыла предъ нею широкое поле дѣятельности.

Ина захлебнулась отъ волненія. Пятна румянца выступили у нея на лицѣ. Глаза заблестѣли, принявъ такъ свойственное имъ выраженіе дѣтской восторженности въ минуты увлеченія.

— Да, вы—преинтересный ораторъ!.. Нѣтъ, положительно вы очаровательны, милая, восторженная курсисточка, изъ кокетливыхъ, знаете, тѣхъ, которыя заботятся о своей прическѣ и ногтяхъ! Неужели у васъ есть дочь и вы замужемъ?—бросивъ искоса мимолетный взглядъ на тонкую, красиво изогнувшуюся въ пылу рѣчи фигуру Ины, все такъ же улыбаясь, спросилъ Клочевскій.

Что-то звякнуло, какъ разбитое стекло, внутри Лерской и зазвенѣло десяткомъ дребезжащихъ, больныхъ нотъ.

„Пошлость или дерзость?“—вихремъ промчалось въ ея мозгу, и, зло взглянувъ въ приблизившіеся къ ней глаза ястреба, она сказала, какъ отрубила, ему въ упоръ:

— Да, была замужемъ, теперь разводка. Есть двѣнадцатилѣтняя дѣвочка—дочь. И черезъ годъ-два выхожу замужъ за своего троюроднаго брата, бывшаго офицера. Онъ кончаетъ университетъ. Довольны?

* * *

Когда они вышли изъ вагона въ Сестрорѣцкѣ, небо въ ожиданіи восхода было объято розовымъ пламенемъ, и звенѣли птицы кругомъ.

— Какая красота!—сильнымъ, сочнымъ крикомъ восторга вырвалось изъ груди Клочевскаго, и онъ остановился—высокій, статный, бѣлокурый, красивый.

Ина замерла рядомъ съ нимъ.

Алымъ моремъ казалась большая часть неба. Его отблескомъ рдѣла земля. Въ кустахъ дышала жизнь, и отъ тишины деревьевъ вѣяло мистической тайной. Казалось,

опьяненный богъ опрокинулъ пьяный фіалъ надъ міромъ, и въ праздничномъ ликованіи вздыхала возбужденная земля.

— Къ морю! Къ морю!—воскликнула Ина и, какъ дѣвочка, побѣжала впередъ.

Любовь къ природѣ родилась съ нею вмѣстѣ. Съ дѣтства она умѣла понимать ее и цѣнить ея красоту. Близкая къ природѣ, она томилась безъ нея, какъ безъ матери томится дитя, отнятое отъ груди. Зато на зелени луговъ, на просторѣ моря, въ чащѣ лѣсовъ и рощъ Лерская чувствовала себя счастливой, живущей полной жизнью, несмотря на заботы и повседневность жизненныхъ будней и житейскую суету.

— Къ морю! Къ морю!

Ина бѣжала впередъ, очарованная и встревоженная красотой картины. Изрѣдка она оглядывалась на своего спутника, не отступавшаго отъ нея ни на шагъ, и видѣла въ его глазахъ тотъ же отблескъ зари, неба, зарожденія майскаго утра и величавой, недосягаемой никакимъ искусствомъ красоты.

— Викингъ норвежской саги, или поручикъ Гланъ, я не знаю, что вы, но вы сейчасъ красивы, какъ богъ, и я готова простить вамъ весь вашъ пресловутый антифеминизмъ!—кричала она, дразня его, и, какъ задорный, живой мальчишка, убѣгала все дальше и дальше.

— А тотъ семитъ, что цѣловалъ ваши ручки въ вагонѣ? онъ—тоже защитникъ эмансипаціи?—не оставался въ долгу Клочевскій, непринужденно завладѣвая рукою Ины и соразмѣряя съ ея шагами свои.

— Ха-ха-ха! Вы замѣтили? И что же вы подумали? что?

Лукаво-задорно поблескивали на него глаза Ины изъ-подъ полей шляпы.

— Подумалъ: флиртушка—эта барынька, и больше ничего.

— Какъ? ха-ха-ха! Флиртушка?.. Ахъ!

Лерская осѣклась сразу и протянула руку, указывая впередъ.

Изъ-за группы деревьевъ вынырнуло солнце, алое, какъ кровь, гордое и спокойное въ своемъ величіи. Оно брызнуло букетомъ искръ, и золотой дождь посыпался на мирную, алую гладь залива. Заиграли солнечные всплески, какъ золотые рыбки въ водѣ, и земля точно вся приподнялась, потянулась къ нему, изступленно, празднично ликуя. Огромный шаръ загорѣлся наверху, другой такой же шаръ отразился въ морѣ, и, казалось, два солнца, одно другого краше, одно другого ярче и пламеннѣе, смотрѣли въ лицо другъ другу.

Долго молчали Клочевскій и Ина, застывшіе, какъ статуи изумленія, оба—одно слитое воплощеніе восторга. Онъ первый нарушилъ молчаніе, несмѣло, тихо:

— У васъ женихъ, вы сказали... Но мнѣ все равно сейчасъ. Вы видите эту сказку природы? Я поклоняюсь ей, какъ язычникъ своему божеству. И вы—кусочекъ этого солнца, этого моря, вы—сказка тоже. Я увидѣлъ васъ сразу и сказалъ себѣ: эта женщина необыкновенная, странная, отмѣченная перстомъ высшаго Разума. И я не ошибся. И вы останетесь въ моей душѣ долго-

долго вотъ такая, какъ сейчасъ, вся пропитанная солнцемъ! И я никогда не забуду этого утра и васъ!

Кто это говорилъ? Высокій самодовольный инженеръ съ плоской душой и сытымъ желудкомъ? Врагъ, противникъ бури въ реакціонномъ затишьѣ? Антифеминистъ и гонитель эмансипаціи? Чувственный самецъ, какимъ онъ показался Инѣ въ первую минуту знакомства? Неужели это—онъ?

Сейчасъ онъ уже не казался самодовольнымъ самцомъ, какъ за часъ до этого. Краски утра согнали румянецъ съ его лица утомленнаго безсонницею. Глаза хищника смягчились и ушли въ орбиты; одухотворенно смотрѣли они въ даль и восторженно пили красоту утра вмѣстѣ съ разбуженной, вспугнутой душою

— И я, и я тоже! Не забуду этой сказки и... васъ!— прозвенѣлъ ему въ отвѣтъ голосъ Ины.

IV.

Большое, темное, глухое озеро Разлива разбросалось почти на десятокъ верстъ кругомъ. Оно страшнѣе залива, на берегу котораго пріютилась дачная мѣстность Сестрорѣцкъ. Ежегодно, какъ дань стихіи, озеро вырываетъ по нѣсколько жертвъ изъ среды дачниковъ: въ немъ тонутъ дѣти и взрослые, гимназисты, студенты, кадеты, тонутъ дѣвушки-дачницы и бѣдные ребятишки, дѣти домохозяевъ и рыбаковъ. Озеро безпощадно къ людской безпечности. Оно жестоко.

У наскоро сколоченныхъ пристаней стоятъ утлыя дырявыя лодченки, и онѣ-то больше всего способству-

ютъ возможности катастрофъ. Но жить въ дачной мѣстности и не пользоваться лодочнымъ спортомъ невозможно, и по вечерамъ большое темное озеро оживаетъ, какъ спящая и пробужденная красавица въ сказкѣ. Быстрыми птицами по всѣмъ ея направленіямъ мелькаютъ лодки; слышатся звонкій смѣхъ молодежи, острыя взвизгиванья барышенъ, неустановившіеся молодые баски представителей учащагося юношества и пѣсни. Полурусскія, полуцыганскія, то веселыя, лихія, то заунывно-тоскующія, онѣ долго рѣютъ надъ озеромъ, какъ нарядные мотыльки.

* *
*

— Кто вы, я не понимаю. Вы настойчиво добиваетесь свиданій, а я все еще не знаю васъ. Вотъ уже двѣ недѣли мы встрѣчаемся въ полѣ и въ лѣсу, здѣсь у воды, и въ курортѣ. Мы вмѣстѣ изрѣзали озеро во всѣхъ его направленіяхъ вдоль и поперекъ. Я познакомила васъ со всѣми своими завѣтными мѣстами, научила любить васъ нашу сѣверную природу, нашъ темный прохладный боръ, нашъ заливъ. Вы—хохолъ, южанинъ; вамъ чужда эта красота, вы любите яркіе колориты, знойныя степи, чернобровыхъ Оксанъ. Зачѣмъ же вы тянетесь ко мнѣ? Вѣдь не оттого же въ самомъ дѣлѣ, что у меня есть имя, что я сдѣлала уже то, чего не сдѣлаетъ другой человѣкъ за цѣлую жизнь, что признаніе моего имени извѣстнымъ политическимъ кружкомъ окружило меня какъ бы рамкой ореола? Не это вѣдь? нѣтъ?— прозвучалъ изъ устъ Лерской пытливый вопросъ.

— Нѣтъ, не это!

Они плыли въ лодкѣ—Ина и Клочевскій. Озеро было тихо и безмятежно въ этотъ день. Солнце—горячее, почти южное солнце—знойно пылало надъ ихъ головами. Золотые блики падали на бѣлое платье Ины, на ея малиновый шарфъ, и отъ этого малиноваго шарфа лицо казалось необычайно розовымъ, сіяющимъ и полнымъ жизни.

Клочевскій сидѣлъ на веслахъ. Подъ бѣлымъ кителемъ выпукло играли его мускулы, фуражка была сдвинута на затылокъ; силой и мощью вѣяло отъ всей его фигуры.

Помимо собственной воли Ина любовалась имъ и думала:

„Это здоровое, сильное тѣло не дрогнетъ предъ несчастьемъ; не согнется подъ гнетомъ жизни спина. Это—борецъ, умѣющій отвоевывать отъ судьбы свою долю, здоровый духомъ и тѣломъ".

Двѣ недѣли прошло съ ночи ихъ перваго знакомства, а Ина постоянно думала о Клочевскомъ. Въ редакціи ли за работой, въ своей дачной хибаркѣ, какъ она называла небольшой флигелекъ-избушку, укрытую чащей деревьевъ и утонувшую въ пескахъ,—образъ Клочевскаго не оставлялъ ея ни на минуту.

Впрочемъ, онъ и самъ дѣлалъ для этого все со своей стороны—онъ не отступалъ. Ежедневно летѣли письма отъ него, красивыя и тонкія, съ мастерски выдержаннымъ слогомъ, съ описаніями той природы, съ прелестью которой его познакомила Ина. Хотя онъ и

двѣнадцать лѣтъ въ Петербургѣ, но онъ не успѣлъ понять и оцѣнить до сихъ поръ, какъ слѣдуетъ, эту сѣверную красоту. И попутно художественно-тонко онъ восхищался Иной, первымъ человѣкомъ-женщиной, очаровавшимъ его, говорилъ о ея работоспособности, духовной силѣ, талантѣ, подчеркивалъ ея дѣтскую восторженность, способность чисто увлекаться всѣмъ прекраснымъ, ея ребяческую нетронутость и духовную чистоту.

— Я держу себя съ вами, какъ съ барышней. Это странно и ново для меня. Съ женщинами я бываю совсѣмъ инымъ—деликатнымъ нахаломъ,—со смѣхомъ сказалъ Клочевскій, не отвѣчая на вопросъ Ины, и взмахнулъ волосами, мѣшавшими ему смотрѣть на Лерскую, сидѣвшую на рулѣ.

— Не болтайте вздора! Пойте лучше!.. Да спрячьте свои разбойничьи глаза!—скомандовала она и нервно шевельнула ногою.

О, этотъ взглядъ!.. Онъ сжигаетъ насквозь, доходитъ до сердца...

„Женя! Евгеній, милый! Безцѣнный братишка, дорогой! Гдѣ ты? Гдѣ ты?“—мысленно звала Ина знакомый образъ.

Вспомнилась до остроты четко-гибкая, какъ у юноши, фигура Нераева, его мрачные въ послѣднее время, все о чемъ-то вопрошающіе глаза, его безумное, стихійно-сильное обожаніе ея какъ женщины и уваженіе ея имъ какъ человѣка. Въ его послѣдніе три-четыре пріѣзда къ ней на дачу Ина уже не могла прямо смотрѣть въ эти рыцарски-честные глаза—точно была виновата въ томъ,

что человѣкъ съ внѣшностью викинга скандинавской саги олицетворилъ въ себѣ всю прелесть того перваго утра и золотого солнца, и что ее влекло къ нему неудержимо, точно онъ и окружающая ихъ природа—одно и то же въ эти лѣтніе дивные дни.

„Гей, не дивуйтесь, добри люди, що на Украінѣ возстали“,—зазвучалъ, лаская воздухъ, сочный, бархатный баритонъ Клочевскаго, и сталъ рости, слаться и виться по озеру тонкій, гибкій, упоительно-красивый напѣвъ. Мѣрно ударяли весла о зеркало воды, разбивался мягкій, влажный хрусталь, и, какъ серебряная рыба, плылъ за ними слѣдъ отъ лодки, млечно-голубоватый слѣдъ...

* *
*

— Я человѣкъ природы, я—жрица прекраснѣйшей изъ богинь красоты,—еще черезъ мѣсяцъ сказала Ина, въ той же лодкѣ подъѣзжая съ Клочевскимъ къ маленькому зеленому полуостровку, небольшимъ выступомъ вбѣжавшему въ озеро.—Природа и красота—для меня одно недѣлимое цѣлое. Ими я живу и дышу. Свою дочь я воспитываю въ томъ же широкомъ культѣ. Ната—дикій ребенокъ, настоящая дочь природы, не признаетъ гостиныхъ и свѣтскихъ дѣвочекъ-подругъ; она ходитъ съ голыми ногами и носитъ въ себѣ зачатки той же огромной любви къ ласковой, горячей землѣ, какую питаю я, и жадно наслаждается ея даяніями. Она—въ меня. Если бы я только могла, я жила бы въ шатрѣ надъ озеромъ или моремъ, ходила бы нагая, питалась бы

плодами и пила бы воду изъ родниковъ. Я не люблю зимы—съ нею неразлученъ холодъ. А зачѣмъ холодъ? Его и такъ достаточно среди людей.

— Но васъ такъ любятъ,—налегая на весла, сказалъ Клочевскій.

— Да, у меня много друзей. Всѣ мои читатели мои друзья. Но вѣдь и „такой“ любви было у меня не мало. Знаете ли, я увлекаюсь, какъ институтка. Да, не смѣйтесь, это такъ! Мнѣ холодно бываетъ порою... ужасно холодно. Жизнь, даже самая яркая и красивая, въ ореолѣ поклоненія и успѣха,—не жизнь, если ее нельзя раздѣлить съ любимымъ существомъ. И вотъ моя душа мечется и ищетъ... Я зову свой идеалъ. Вотъ-вотъ, кажется, онъ явился. Его душа чиста, какъ и моя, душа поэта, мечтателя, восторженнаго ребенка. Я вижу кусочекъ неба въ его глазахъ, слышу заоблачныя далекія пѣсни... Но достаточно одного глухого напѣва людской зависти, злобы, мелочности (мелочности особенно—ее я ненавижу и прощаю менѣе чѣмъ подлость! да!), достаточно одного невѣрнаго шага, смѣшного, нелѣпаго, обличающаго мелкоту, ничтожество души—и мой кумиръ летитъ кувыркомъ. А между тѣмъ я хочу отъ своего избранника немногаго—только красоты духа. И прежде всего я ищу пѣсенъ неба въ его душѣ, духовной красоты!

Причалили къ берегу. Сильнымъ движеніемъ руки Клочевскій втащилъ на песокъ лодку. Онъ хотѣлъ отвѣчать Инѣ и вдругъ улыбнулся, устремивъ впередъ любующійся взглядъ.

— Смотрите, какая прелесть!.. Настоящая бесѣдка

изъ вѣтвей. Я же вамъ говорилъ, что давно надо было почтить вниманіемъ этотъ очаровательный мысокъ.

Онъ произносилъ букву „г“ совсѣмъ по-хохлацки, и это не нравилось Инѣ. „Мужъ такъ же выговаривалъ слова“, въ сотый разъ рѣзало ея мозгъ непріятное воспоминаніе. Зато глаза у Клочевскаго, когда онъ оглядывался кругомъ на дикій уголъ заросли надъ водою, были полны восторженнаго любованія.

— Вы сейчасъ такой милый,—серьезно замѣтила Ина.—Да сбросьте же вы эту глупую фуражку! она вамъ не идетъ вовсе!—и быстрымъ движеніемъ руки она задорно сорвала ее съ его головы.

— Ха-ха-ха, вы—настоящій мальчишка, Ина Михайловна... милый, рѣзвый мальчуганъ. Вы страшно молоды душою, знаете... Въ васъ бьетъ ключемъ жизнь... бездна жизни!

— Мой женихъ меня называетъ мальчикомъ и листикомъ тоже,—мягко промолвила Ина.—Знаете, листикъ, слабенькій, оторванный отъ вѣтки, засохшій... Да, онъ видалъ меня и такой. Не смотрите на то, что я свободно зарабатываю шесть тысячъ, какъ мужчина, и по четырнадцати часовъ сряду провожу за письменнымъ столомъ, я иногда „засыхаю“, дѣлаюсь такая тихенькая, жалкая, и тогда мнѣ страстно хочется прижаться къ кому-то сильному, мощному... притулиться къ чьей-нибудь груди... Ахъ, вы врядъ ли поймете это? Вы—сильный.

— Ну, не правъ ли я былъ? Женщина останется женщиной,—засмѣялся Клочевскій,—и вы, лучшая изъ женщинъ, не можете отказать себѣ въ минутной слабости.

Не правда ли? А все-таки я не назову васъ этимъ прозвищемъ вашего жениха. Оно мнѣ чужое! Мальчуганчикъ вы, это—правда, и птичурка тоже...

— Кто?

— Птичурка, птичка, изящная, хрупкая, маленькая, но съ сильными крыльями, которыми работаетъ какъ большая. Птичурка вы моя!.. маленькая, дорогая!..

Онъ стоялъ подъ навѣсомъ зеленыхъ осокъ, свѣсившихся къ водѣ, между кустами вербы и волчьихъ ягодъ. Его глаза горѣли призывомъ, сильная фигура въ бѣломъ кителѣ рельефно выдѣлялась на изумрудномъ фонѣ, призывно тянулись къ Инѣ мощныя руки. Минуты ползли съ убійственной медленностью часовъ.

Бурный хмель бродилъ въ крови, зажигая тѣло.

— Взять бы васъ на руки и утащить подальше... Взять, прижать къ себѣ крѣпко и унести въ міръ забвенія... Кто вы, птичурка?—какъ-то глухо и придушенно прозвучали слова Клочевскаго.

— Кто я? Лѣсная, озерная, песчаная женщина,—зазвенѣлъ не совсѣмъ спокойно, перехваченный волненіемъ Ининъ голосъ,—а въ васъ я ищу лѣсного бога... фавна, Пана зеленоокаго, умѣющаго давать чистыя, хорошія минуты... То, что тамъ, по ту сторону этой зеленой жизни, — забудемъ на мигъ. Давайте бѣгать, рѣзвиться, хохотать, смѣяться, какъ дѣти. Я до одури, до опьянѣнія люблю природу и жизнь... Этотъ лѣсъ, это озеро, этотъ песчаный берегъ... Въ ихъ молчаніи больше смысла, нежели въ первоклассномъ твореніи искусства. А теперь, господинъ инженеръ, ловите меня!—и, прежде чѣмъ Кло-

чевскій успѣлъ опомниться, Ина сдѣлала прыжокъ, перелетѣла какую-то канаву, перескочила кустъ и громко засмѣялась изступленно-веселымъ смѣхомъ, обернувшись къ нему. Малиновый шарфъ скатился съ головы, растрепалась прическа. Задорный, веселый, жизнерадостный мальчишка глядѣлъ снова изъ ея помолодѣвшаго лица, изъ ея тонкой фигуры, изъ потемнѣвшихъ отъ возбужденія бѣга глазъ.—Васъ зовутъ Даніилъ. Пахнетъ пророчествомъ... Какъ сократить ваше имя?—и она заразительно захохотала.—Данька! Ну, конечно, Данька... не Данюшкой же буду я васъ звать!

— Молчите, птичурка, или я васъ поцѣлую!

Лицо Клочевскаго потеряло свою ласковую веселость, недобро и хищно загорѣлись его глаза.

Дрожь пробѣжала по тѣлу Ины. Она почувствовала стыдъ, смятенье и страсть, острую, животную страсть дикарки. Властно заявляло свои права тѣло, спавшее мирнымъ покоемъ, нетронутое съ той минуты, какъ появился на пути Евгеній, ревниво охранявшій свою невѣсту отъ себя и другихъ.

Она взглянула на Клочевскаго исподлобья взглядомъ затравленнаго, испуганнаго звѣрька, сразу дѣлаясь безпомощной и слабой.

— Чтобы цѣловать, надо любить,—сорвались съ ея губъ, загорѣвшихся и дрожащихъ, чуть слышныя слова—сорвались глухо, неровно.

— Да развѣ вы не видите моей любви? Птичурка, жизнь моя... Иночка!.. Лѣсная... милая... любимая!.. Мальчуганчикъ мой милый! Хлопчикъ мой! Люблю! Люблю!..

Какъ страстно зазвучалъ голосъ Клочевскаго! Какъ задрожали его руки, которыми онъ поднялъ Ину отъ земли и понесъ—понесъ бережно, какъ волкъ добычу... Стучало сердце... два сердца стучали въ унисонъ.

Гдѣ-то сбоку играло озеро; наверху далеко безстрастно наблюдало небо... И море солнца сверкало надъ лѣсомъ золотомъ своихъ лучей... Солнце, озеро, пески, опрокинутая лодка на отмели, тѣсно сплетшія вѣтви осоки надъ головой — все слилось, переплелось и исчезло въ пестромъ хаосѣ наиострѣйшихъ переживаній.

— Птичурка... желанная... милая... люблю!..

Жгли до боли раскаленныя губы, горячія руки властно захватывали всю. Растаяла послѣдняя сознательная мысль въ мозгу Ины, и она съ крикомъ блаженнаго оцѣпенѣнія полетѣла въ глубокую пропасть блаженно-сказачнаго небытія.

* * *

„Я хочу сейчас сказать своей Иночкѣ-птичурочкѣ безцѣнной, любимому человѣку, о наполняющемъ меня сознаніи величайшей красоты нашихъ отношеній, чуждыхъ земной пошлости и условности.

„Я хочу сказать о томъ чувствѣ, которое отрываетъ меня отъ земли (въ обывательскомъ смыслѣ) съ ея избитыми формами жизни, мыслями, движеніями и наполняетъ жгучимъ сознаніемъ чего-то великаго, неземного и уноситъ въ область мечты.

„Я вспоминаю: часто въ юношествѣ я забирался въ самыя непроходимыя и недосягаемыя чащи нашего сада,

залѣзалъ на какое-нибудь высокое дерево и часами тамъ просиживалъ въ какомъ-то упоеніи. Я себя чувствовалъ внѣ земной оболочки, міровой стихіи, и мою душу наполняла сладкая истома неизвѣданныхъ новыхъ эмоцій. Я тамъ переживалъ часто слезы радости, да, слезы... Вы понимаете это состояніе юноши?

„Въ періодъ отъ двѣнадцати до восемнадцати лѣтъ я жилъ неземной жизнью, мечтой, воображаемыми подвигами, любовью къ невидимой женщинѣ, обязательно возвышенной, благородной. Такую женщину я часто ощущалъ около себя, въ своемъ храмѣ, на верхушкѣ дерева. И ничего мнѣ больше не надо было. Это было весной и лѣтомъ. Осенью и зимой я засиживался въ своей прекрасной комнатѣ съ огромнымъ шкафомъ во всю стѣну, полнымъ книгъ, и все съ тѣми же мечтами за запойнымъ чтеніемъ.

„Прошло много лѣтъ. Жизнь толкнула меня, вѣрнѣе— притянула къ своей груди. Я оставилъ свои „вершины“, пришелъ въ сутолоку, сталъ проявлять тенденціи къ непреодолимой иниціативѣ, сталкивался съ препятствіями и или преодолѣвалъ ихъ, или отходилъ, чтобы не уступить. Но жизнь груба въ своихъ проявленіяхъ, а потому приходилось часто щадить свою душу и часто „замыкаться“.

„Въ прежней неземной жизни и былъ не одинокъ: возлѣ меня была прекрасная воображаемая подруга... Здѣсь я много лѣтъ велъ борьбу одинъ, безъ нея, безъ ея нравственной поддержки: она, моя нѣжная, осталась тамъ наверху нашего дерева, не захотѣла спуститься со мною

на землю, пойти на компромиссъ съ жизнью, и ни одинъ суррогатъ женщины не могъ мнѣ замѣнить ее.

„Но вдругъ мой горизонтъ освѣтился яркимъ заревомъ! Я узналъ свою мечту—она пришла, она здѣсь, она покинула дерево, опять со мною, воплощенная уже, такъ же, какъ и я, боровшаяся, жившая земной жизнью, но вдали отъ меня.

„Какое роковое недоразумѣніе! Мы покинули дерево одновременно, но спустились на землю съ разныхъ концовъ его и не знаемъ другъ о другѣ ничего до сихъ поръ... Какъ жаль! Сколько потеряно времени, лучшаго времени земной жизни!

„Просыпаются старыя мечты, снова волнуютъ грудь прежнимъ глубокимъ дыханіемъ, ясно воскресаютъ прошлыя, давно угасшія надежды, жажда подвига, любви, и снова подступаютъ къ горлу слезы... Но—увы! нѣтъ уже (кажется) того свѣжаго духомъ, восторженнаго юноши, гибкаго въ своихъ душевныхъ движеніяхъ. Кажется, земля побѣдила, сдѣлала себѣ еще одного адепта, но не совсѣмъ, такъ какъ я еще отчетливо вижу, чувствую свою воплощенную мечту, прекрасную, возвышенную, благородную и вѣрную себѣ, завѣтамъ нашей юности... И я безконечно счастливъ, что она стойко и мужественно держитъ свое знамя и, сойдя на землю, все время неустанно воспѣваетъ красоту, служитъ прекрасному... Вѣрная завѣтамъ жрица... очаровательная и великая въ своемъ земномъ служеніи!

„И я воспряну духомъ! И я соберу всѣ свои душевныя силы, вспомню наши завѣты, разверну еще шире

свое знамя, соединю его съ ея знаменемъ и... И впередъ по пути высшей красоты, высшихъ чувствъ, высшихъ положеній! По землѣ и надъ нею, съ земными оболочками и съ неземнымъ содержаніемъ.

„Впередъ къ нашей мечтѣ, къ нашимъ прежнимъ вершинамъ... къ нашему священному дереву! Данька у Иночкиныхъ ножекъ".

Какое письмо! Ина знаетъ его наизусть и теперь припоминаетъ каждую его строку, каждое слово здѣсь, въ вагонѣ. Онъ читала его и перечитывала десятки разъ подъ рядъ и все же не находила въ себѣ достаточно силы сложить, упрятать въ конвертъ эти дорогіе ей листочки. Да, это была настоящая пѣсня неба... Человѣкъ, умѣющій чувствовать такъ, — не простой человѣкъ: онъ—титанъ, властитель... Ему—дорога! И такого только, да, только такого она можетъ и хочетъ любить!

V.

Новая картина выплываетъ изъ цѣлой вереницы другихъ.

Тихій тающій сонный вечеръ. Предъ дачкою на площадкѣ идетъ веселая партія лаунъ-тенниса. Растянута сѣтка, прыгаютъ мячи. Слышны веселые всплески Натина смѣха. Дѣвочка смѣется рѣдко—только за любимымъ спортомъ, въ лодкѣ, или за партіей облюбованной ею игры. Мелькаютъ голенькія ножки съ сильными икрами, треплются прядки пышныхъ каштановыхъ волосъ, выбившихся изъ косы. Сосѣднія барышни-дачницы, институтки, два ихъ брата—кадеты, маленькій реалистъ—

все обычные Натины партнеры, смѣются и кричатъ не меньше, воздавая обычную дань веселому беззаботному дѣтству... А лѣтній вечеръ, тихо тая, плыветъ... Красный дискъ солнца утонулъ въ заливѣ, и заливъ сталъ какъ будто строже и молчаливѣе по его закатѣ. Строже и молчаливѣе стали и старыя сосны, окружающія дачи. За минуту до этого онѣ были похожи на розовыхъ дѣвушекъ, опоясанныхъ алыми поясами, съ пурпурными отблесками на стволахъ. Сейчасъ онѣ темны и важны, какъ пожилыя монахини, замкнутыя, твердыя, таящія какую-то тайну подъ своими зелеными клобуками.

На балконѣ фрейлейнъ Эмма, Натина гувернантка изъ прибалтійскихъ нѣмокъ, разставляетъ посуду. У нея сосредоточенный видъ пожилой дѣвственницы, упрямыя складки по обѣ стороны рта, слишкомъ красныя щеки и сухая фигура. Фрейлейнъ Эмма—воплощенная добродѣтель: она не выноситъ мужчинъ, какъ съ чѣмъ-то неизбѣжнымъ мирится съ тайной дѣторожденія (непремѣнно законнаго) и пессимистически смотритъ на любовь и вѣрность. По ея убѣжденію, всѣ мужчины—обманщики и развратники, а удѣлъ женщины страдать отъ ихъ подлости и терпѣть. Это поставила она себѣ девизомъ. Честная до нелѣпости, мелочная и пунктуальная до смѣшного, она необходима въ домѣ и хозяйствѣ, и Ина ради этой честности и слѣпой преданности „дому“, ради „дома“ держитъ уже пятый годъ Эмму, мирясь съ ея излишней обидчивостью и неумѣньемъ сдерживать себя.

Красивая, похожая на монашку-послушницу, Дуня

помогаетъ нѣмкѣ у стола. Въ углу террасы куритъ Евгеній. Онъ только что пріѣхалъ съ вечернимъ поѣздомъ на дачу и говоритъ о службѣ, о духотѣ города, о придиркахъ начальства, о томъ, что службу и университетъ нельзя совмѣстить. Когда-то, еще очень давно, все это интересовало Ину: и служба, и городъ, и придирки начальства. Сейчасъ не то, не то, не то: всѣ мысли, всѣ чувства, все выпилъ изъ души ея зеленоглазый фавнъ тамъ, на мысѣ, за большимъ озеромъ, подъ шатромъ кустовъ. Всѣ чувства, кромѣ одного—любви, побѣждающей и жизнь, и смерть, и самую вѣчность, выпилъ онъ до конца. Да, она любитъ его, этого рыцаря-пѣвца и баяна природы, этого сильнаго жреца небеснаго культа поклоненія красотѣ, жреца, осилившаго ее, подчинившаго ее себѣ въ неистовомъ культѣ любви и наслажденья. Да, она любитъ Клочевскаго, любитъ, какъ никого еще не любила въ жизни — пылко, необузданно, дѣтски-восторженно, чисто и горячо. И это первая и послѣдняя настоящая любовь, ея лебединая пѣснь.

„Лебединая пѣснь!“—поетъ неслышно въ ликующей душѣ женщины, разгорѣвшейся первой и настоящей любовью.

Евгеній куритъ, незамѣтно наблюдая за нею, Эмма хлопочетъ у стола. Тамъ, за оградой, неистово взвизгиваетъ Ната, выигравшая третью партію подърядъ.

— Завтра надо покупать дрова... всѣ вышли,— своимъ рѣзковатымъ голосомъ, съ типичнымъ акцентомъ прибалтійской нѣмки, безстрастно говоритъ Эмма.

— Купите!—равнодушно бросаетъ Ина.

— Но вѣдь денегъ больше нѣтъ... Вчера по вашему желанію я дала послѣдніе пять рублей Натѣ для серебряной монограммы на ея ракетку.

— Тогда велите срубить эти сосны и сожгите ихъ подъ плитой,—серьезнымъ голосомъ продолжаетъ Ина,—а я васъ прокляну за это, потому что этотъ уголокъ безъ деревьевъ—помойная яма. Да!

— Но какъ же насчетъ денегъ? И мясникъ приходилъ...

— Ахъ, Боже мой, оставьте меня въ покоѣ!..—внезапно раздражается Лерская. — Не пишущая же я машина въ самомъ дѣлѣ!.. Не могу же строчить день и ночь ради дровъ и мясника! Ну, покупайте дичь, если не отпускаютъ въ долгъ мяса. Идея!.. — вдругъ сразу оживляется она,—покупайте дичь... Или давайте стрѣлять голубей изъ маузеровъ... Ихъ немало вокругъ дачи, а голубей ѣлъ даже... Наполеонъ. До новаго гонорара за фельетонъ протянемъ на голубяхъ и пирожныхъ... Булочникъ, надѣюсь, не такъ нелюбезенъ, какъ мясникъ?..

Эмма вспыхиваетъ, багрово-краснѣетъ. Капельки пота проступаютъ у нея на лбу подъ мелко завитыми сѣровато-бѣлокурыми кудряшками. Она въ теченіе пяти лѣтъ никакъ не можетъ привыкнуть къ эксцентричнымъ выходкамъ своей „gnadige Frau“ *).

„Ахъ, Господи,—внутренне возмущается она:—еще одинъ мѣсяцъ такой жизни и вы, милая Эмма,—кандидатка въ сумасшедшій домъ!“.

*) Милостивая государыня, барыня.

Даже въ самыя критическія минуты жизни Эмма обращается ко всѣмъ, не исключая и самой себя, самымъ почтительнымъ образомъ на „вы“.

— „Діана“! „Діана“! — неожиданно кричитъ Ина такъ громко, что высокая, красивая Дуня роняетъ на полъ и разбиваетъ чайное блюдце. — „Діана“! „Діана“! Иси!

Поджарая рыжая сука-сеттеръ, виляя хвостомъ, бросается къ ней.

— Тише, „Діана“, тише, вы уроните барыню!—предупреждаетъ Эмма собаку.

Но „барыня“ уже на баллюстрадѣ балкона, болтаетъ ногами и командуетъ собакѣ:

— „Діана“! Умри! умри сейчасъ! Ну, же! Умри!

Умный сеттеръ понимаетъ, въ чемъ дѣло, падаетъ на полъ и застываетъ покорный и безгласный.

Съ площадки прибѣгаетъ Ната, раскраснѣвшаяся, возбужденная, за нею—сосѣднія барышни и кадеты.

— Мамочка! Пять на одинъ! Каково! „Военщина“ проворонила четыре партіи. Хороши будущіе генералы! Не видать вамъ генеральскихъ эполетъ, помяните мое слово! Не видать!—дразнитъ она кадетъ.

Когда Ната въ „обществѣ“, она подражаетъ матери: тѣ же слова, тѣ же манеры, но только то, что оригинально у взрослой женщины, угловато и смѣшно у подростка.

Ина любуется дочерью, гладитъ ея разгорѣвшіяся щечки тонкими, худенькими пальцами. Ната неловко чмокаетъ руку матери и, какъ зайченокъ, смущенно ко-

сится на молодежь. Ната застѣнчива; она хотѣла бы родиться мальчикомъ, чтобы быть свободнѣй, и проявленія ласки, какъ нѣчто черезчуръ женское, стѣсняютъ ее. То же испытывала и Ина въ дѣтствѣ. Но свою мать дѣвочка обожаетъ до болѣзненности; она гордится ею, ея именемъ, ореоломъ, создавшимся вокругъ Лерской, и, если бы Ната была мечтательницей, образъ „Прекрасной дамы“,—идеала рыцарскаго поклоненія, воплотился бы въ лицѣ матери у нея въ душѣ.

— А вѣдь она будетъ дурнушка, — рѣшаетъ Лерская, но помимо воли продолжаетъ любоваться дочерью, какъ бы вызывая этой фразой присутствующихъ на протестъ.

— Ната похожа на своего папашу!—безапелляціонно рѣшаетъ Эмма, бросая значительный взглядъ на висящій въ первой комнатѣ дачи портретъ тоненькаго, женоподобнаго офицера съ тяжелыми вѣками Гейне и пустымъ взглядомъ.

Эмма не любитъ Лерской, считаетъ ее верхомъ легкомыслія и непрактичности, а легкомысліе и непрактичность хуже всякихъ пороковъ,—было разъ и навсегда прочно сложившимся мнѣніемъ въ почтенной головѣ нѣмки. И часто колетъ она свою хозяйку косвеннымъ напоминаніемъ на ея неудачный бракъ. У Наты съ отцомъ никакого сходства, да и на мать она не похожа совсѣмъ. Только глубина глазъ напоминаетъ длинный, пытливый взглядъ Лерской, да крупный ротъ дѣтски добродушенъ, какъ и у той.

— Ната похожа на Луизу Мишель!—смѣется Евге-

ній,—или на Шарлотту Корде,—словомъ, на самую революціонную женщину въ мірѣ. Я слышалъ, кака она воевала съ консервативной фрейлейнъ Эммой по поводу какихъ-то чулокъ въ прошлый мой пріѣздъ.

Часомъ позднѣе Ина и Нераевъ встрѣчаютъ ночь на берегу моря. Медленно обволакивается пленкой наступающихъ сумерекъ заливъ, темнѣетъ небо, темнѣетъ берегъ. Изъ курорта доносятся бойкіе звуки „матчиша", исполняемаго военнымъ оркестромъ; на пляжѣ, тамъ, далеко, гуляетъ нестройная толпа.

— Что съ вами, Листикъ, мальчикъ милый? Я васъ не узнаю съ нѣкоторыхъ поръ! Что съ вами? Вы такъ измѣнились, Листикъ, стали совсѣмъ чужою, далекой. Ушелъ отъ меня мой мальчикъ; не чувствую я его около себя!

Голосъ Нераева звучитъ печально, пытливо глядятъ въ душу черные тоскующіе глаза. Невыносимо становится Инѣ хранить ея тайну дальше. Признаніе готово сорваться съ ея губъ. Ахъ, Боже мой, да развѣ онъ не видитъ, не чувствуетъ? Она не можетъ любить его!.. Онъ слишкомъ земной, обыкновенный; онъ слишкомъ увязъ въ свои заботы по службѣ, по университету. Ему недоступны восторги и пониманіе природы и красоты. Онъ внѣшній, весь внѣшній, и оживаетъ только, когда говоритъ о своихъ философахъ древности или о юридическомъ правѣ. Нельзя же всю жизнь восторгаться древними юристами и старой, и новой философіей права! И она, Ина, поклоняется, какъ божествамъ, Томасу Мору—за его утопію, Спинозѣ—за неподкупность его идеаль-

наго религіознаго соціализма; и просто философовъ, не юристовъ, она любитъ: Фурье —за его фоланстеры, Ницше-апостола—за грядущаго сверхчеловѣка. Она готова забыться надъ парадоксами утопіи перваго и кланяться до земли предъ величиною прекраснѣйшаго изъ евреевъ—Спинозы. Но жизнь проще философіи міра, у нея есть своя юриспруденція, свое право, свои нравственные законы, выше которыхъ нѣтъ и не будетъ ничего на землѣ. Эти законы—чувства, которыя непреодолимы, какъ предопредѣленіе, какъ сама смерть...

„Нѣтъ, онъ не избранный, онъ не можетъ подняться отъ земли и улетѣть къ небу. У него тяжелыя крылья! – черезъ минуту снова думаетъ она.—Онъ умѣетъ говорить долго и подробно о томъ, какъ чиновникъ на службѣ показывалъ товарищамъ порнографическую картинку, и какъ онъ разбилъ вслѣдствіе этого чернильницу возмущенный, о модной фуражкѣ отъ Вотье и аппаратѣ для бритья; о новомъ изобрѣтеніи, объ успѣхахъ воздухоплаванія и пожарѣ на Охтѣ. Онъ будетъ совѣтовать не тратить много денегъ, чтобы не гнуть спины за фельетономъ черезъ силу. И шутить, и смѣяться онъ не любитъ, и понимать природу и красоту, какъ „тотъ“... жрецъ“...

„Тотъ“...

При одномъ вопоминаніи о Клочевскомъ блѣднѣетъ Ина. Руки и ноги наливаются свинцомъ, искры пробѣгаютъ по тѣлу. И разливается теплая, ласковая волна отъ головы до кончиковъ пальцевъ на ногахъ.

„Надо сказать... сказать! Сію же минуту... сейчасъ, иначе будетъ нечестно, гадко... да, да, нечестно!..—до-

кучно бьется мысль въ виски, въ сердце и мозгъ.—Надо сказать! Подло, любя одного, быть невѣстой другого, подло, подло!.. да, да, да!.. скорѣй! скорѣй! скорѣй!".

— Женя, — выдавливаетъ она изъ себя хриплые звуки,—послушайте: что было бы, если бы я... я оказалась недостойной вашей любви?

— Какъ?—его лицо дѣлается сразу смертельно блѣднымъ, исчезаютъ въ глубинѣ глаза, вздрагиваютъ ноздри, губы...

— Женя! Послушайте, что, если бы я полюбила другого, что было бы съ вами? Вы...

— О,—перебиваетъ онъ ее съ ужасомъ, залившимъ его округлившіеся зрачки, — о, этого не можетъ быть, Листикъ, не можетъ быть! За что? Развѣ я перемѣнился, оскорбилъ васъ чѣмъ-нибудь, недостаточно чутокъ къ вамъ и нѣженъ? Вѣдь я люблю васъ преданно и нѣжно, люблю безумно. Вы для меня—все: смыслъ жизни, ея цѣль, ея полнота и счастье. Вы — мой богъ, моя любимая женщина, будущая жена, обожаемая невѣста. Мнѣ никого и ничего, кромѣ васъ, не надо. Вы — центръ всего. И университетъ для васъ, и служба, и будущая карьера. Радость моя, съ первой же встрѣчи я отдалъ вамъ сердце, оно въ вашихъ рукахъ. Неужели же вы разобьете его? Мальчикъ милый! Листочекъ мой нѣжный! Разобьете? вы—сама доброта?

— Женя! Женя! Да развѣ можно приказывать сердцу?..—пытается вставить она въ льющійся потокъ его рѣчи робкія слова.

— О, это была бы величайшая несправедливость

судьбы,—не слушая ея, подхватываетъ Нераевъ.—Я, который не смотрю ни на одну женщину, который молюсь на васъ, Листикъ!.. И отбросить, оттолкнуть меня!.. О! это была бы такая жестокость, такое варварство, на которое вы неспособны... нѣтъ! Да вы знаете ли, что станется со мной? Я брошу университетъ... къ черту! Я брошу службу, приватныя занятія, все... А у меня семья... я ей помогаю. Я опущусь до самаго дна жизни и, какъ живой укоръ, стану предъ вами. Попробуйте тогда заложить фундаментъ новаго счастья на моемъ несчастьѣ, на моей гибели, Листикъ мой, мальчикъ дорогой!... Хватитъ ли у васъ на это силъ? Посмотримъ!

Нѣтъ, не хватитъ! Ина лучше его самого сознаетъ это.

Отчаяніемъ звучатъ его рѣчи. Страдаетъ, мучается, тоскуетъ душа. Черные глаза наполнены болью и ужасомъ. Кажется, сейчасъ онъ упадетъ на землю, и, какъ на смерть раненое животное, будетъ грызть ее и стонать.

— Не можетъ быть,—говоритъ Евгеній уже увѣренно и твердо.—Вы не оттолкнете меня... въ вашемъ равнодушіи моя смерть. Слышите ли, уходя отъ меня, вы меня губите сознательно, жестоко. Да!

Когда Ина слышитъ это, ей кажется, что предъ нею выростаетъ стѣна, глухая стѣна. Ее нельзя прорубить брешью, разрушить. Нельзя жить по-человѣчески, нельзя быть смѣлой, честной, правдивой—изъ гуманности, изъ альтруизма, изъ нелѣпой чуткости нельзя!

И на фонѣ счастья влюбленности появляется черное, мрачное, противное пятно.

Чтобы не губить его, этого свѣтлаго, благороднаго, любящаго человѣка, всѣмъ существомъ преданнаго ей, Ина рѣшаетъ скрыть правду, скрыть во что бы то ни стало и отъ него. Она его любитъ какъ милаго брата, какъ вѣрнаго друга, какъ второе свое дитя; она не убьетъ его сознательно, нѣтъ, не сможетъ убить...

Въ курортѣ, куда идутъ они позднѣе, людно, ярко, празднично и пестро.

Струнный оркестръ играетъ въ залѣ, и нѣжащая слухъ рапсодія Листа улетаетъ подъ куполъ зала, сладко тревожа слухъ. На пляжѣ издали виднѣются высокая, статная фигура, бѣлая фуражка, лицо викинга, широкія плечи и грудь...

И вмигъ забыты боль, уродливые страхи за будущее, нелѣпыя сомнѣнія, угрызенія совѣсти, этого злостнаго тюремщика, сторожащаго свободу любви.

„Онъ!“.

Они не кланяются. Зачѣмъ? Развѣ пустой обычай, придуманный людьми, можетъ прибавить что-либо къ сказкѣ ихъ необыденныхъ отношеній? Къ чему мучить Евгенія? Онъ ревнивъ, надо его пожалѣть. Но, проходя мимо нея и посылая ей свой взглядъ, полный явнаго обожанія, Клочевскій срываетъ шляпу съ головы и идетъ, склонивъ голову, какъ бы подъ желаннымъ, сладкимъ бременемъ охватившаго его чувства.

VI.

И опять роятся горячія, острыя воспоминанія...

Осень подползла неслышно, незамѣтно. Сразу ис-

чезли тепло и солнце въ этомъ году и полили непрерывные дожди. У Наты начались занятія въ гимназіи, надо было переѣзжать въ городъ. Наканунѣ отъѣзда Клочевскій прилетѣлъ со службы изъ Петербурга двумя часами раньше и запиской вызвалъ Ину изъ ея дачи въ сосновый лѣсъ надъ рѣкою. Онъ не бывалъ у нея въ домѣ, несмотря на всѣ упорныя приглашенія съ ея стороны.

— Нѣтъ, нѣтъ—говорилъ онъ всегда на это,—богиня должна остаться богиней, женщина съ озера, изъ лѣса и съ песковъ не можетъ показаться среди обыденной обстановки, среди повседневныхъ заботъ. Природа—храмъ ея, и тамъ она пребываетъ...

Въ этотъ вечеръ они обѣжали всѣ свои мѣста, всѣ тѣ мѣста, гдѣ заставали ихъ жгучіе захваты счастья.

— До будущаго лѣта, да, птичурка милая?—заглядывая въ глубину ея глазъ, спрашивалъ онъ.

И, сгорая отъ любви и страсти, она отвѣчала „да“, все то же „да“,—неизмѣнно...

* * *

Свѣтлая, ярко освѣщенная комната. Мягкій коверъ во всю ея величину. Трюмо, красная восточная мебель. Уютъ, тепло, нѣжность. Пахнетъ странными, незнакомыми, одуряющими духами.

— Развѣ хуже, чѣмъ тамъ, въ нашихъ прежнихъ храмахъ?—допытывается Клочевскій, цѣлуя маленькія ноги Ины и протягивая ей пучекъ красныхъ, какъ пурпуръ, розъ—ея любимыхъ цвѣтовъ.

Ина чѣмъ-то встревожена, смущена, робка. Она озирается дико, печально. Она только что вернулась съ бурнаго редакціоннаго засѣданія. Крупный разговоръ съ однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ, много непріятностей и заботъ, все это угнетаетъ ее.

— Ты тоскуешь по твоей природѣ. Птичурка милая, она рвется изъ клѣтки!.. Она можетъ радоваться и щебетать только среди свободныхъ дубравъ, лѣсовъ... На озерѣ и въ пескахъ... Такъ?—лаская ее, нѣжно, мягко шепчетъ Клочевскій.

— Какой ты милый!—говоритъ Ина тихо,—и какъ у тебя уютно и хорошо!

— Маленькій храмъ большой богинѣ!

— О, Данька! Жизнь моя!

Поцѣлуй ихъ длиненъ и сладокъ. За нимъ накипаетъ цѣлый градъ такихъ же длинныхъ и сладкихъ поцѣлуевъ. Алыя розы пахнутъ пряно и остро. Отъ нихъ кружится голова.

— Моя! Моя! Желанная, родная!

Чаще поцѣлуи, круче объятья... Клочевскій такой сильный весь, такой мощный... Онъ несетъ ее и падаетъ вмѣстѣ съ нею въ жадно глотающую ихъ бездну небытія...

* * *

Теперь они постоянно встрѣчаются въ уютной, свѣтлой комнатѣ. Клочевскій переѣхалъ отъ семьи, состоящей изъ матери, сестры и брата, живетъ отдѣльно.

Осень влажная съ дождями и вѣтрами загоняетъ ихъ сюда. Къ себѣ Ина его не зоветъ — онъ все равно не

согласится. Она—лѣсная женщина для него, выбѣжала изъ лѣса со смѣхомъ, шутя и играя. Зачѣмъ условностями и скучной прозой наполнять ихъ звонкую, чистую пѣснь?

* *
*

Снѣгъ, наивно бѣлый и назойливо однообразный, уже покрылъ землю; инеемъ, какъ пудрой, запушены деревья. Рѣзкій вѣтеръ дуетъ съ моря, давно окованнаго синей призрачной броней льда. Заколоченныя по-зимнему дачи стоятъ, какъ забытые просители, молчаливо-угрюмые, въ ожиданіи, когда о нихъ вспомнятъ. Занесены аллеи въ паркѣ, заледенѣло огромное озеро тамъ, внизу...

Клочевскій и Ина пріѣхали сюда съ утра. Обѣжали знакомыя по лѣтнимъ воспоминаніямъ мѣста, пообѣдали въ курортѣ, спрятанномъ среди сосноваго бора, бросались снѣжками на пляжѣ, занесенномъ снѣгами, носились на буэрѣ по озеру, смѣялись, дурачились, какъ дѣти.

Весь день прошелъ, какъ сказка. Счастливая, влюбленная больше, чѣмъ когда-либо, возвращалась домой Ина. А несчастье уже ждало свою жертву, притаившись. Дань любви и расплата за нее... Не по силамъ тяжелая расплата...

* *
*

Еще такая поѣздка ранней весною въ ненастный, почти осенній день, долгая прогулка подъ вѣтромъ, промоченныя ноги—и въ результатѣ недугъ, тяжелый, продолжительный и страшный, какъ кошмаръ. Лерская слегла. Начались боли въ полости живота, въ спинѣ, и сильнѣй-

шій жаръ, доводящій до безумія, а потомъ мучительно острый, колючій ознобъ.

Высокая, смуглая, какъ испанка, Раиса Навѣтова, актриса по профессіи, подруга Ины, страстная, энергичная, до безумія любившая Лерскую, взяла на себя роль посредника между больной и Клочевскимъ. Она наскоро писала ему короткіе бюллетени о состояніи здоровья больной.

* *
*

Тяжелое дыханіе, бредъ, дикіе безобразные кошмары... стоны боли... и опять бредъ, чуть внятный, тоскующій...

Испуганное личико Наты осторожно склоняется надъ потерявшимъ человѣческій обликъ, исхудавшимъ до неузнаваемости, лицомъ матери.

— Тетя Рая, голубушка, мамѣ очень плохо? Да?

Раиса Сергѣевна быстрымъ движеніемъ привлекаетъ къ своей груди дѣвочку.

— Молись, Ната, молись!

Больная какъ будто слышитъ и не слышитъ, но понимаетъ одно сквозь кошмарный сонъ: ея дни сочтены, скорая смерть неминуемо ожидаетъ ее. И въ рѣдкія минуты сознанія мысль о Натѣ гложетъ ее больше недуга, нестерпимо. Кому она оставитъ свою бѣдную сиротку? Роднымъ? Но ея родные живутъ совсѣмъ отдѣльной жизнью, иными интересами. Ей самой никогда не была и не будетъ понятна эта жизнь, такая холодная, чужая, и Натѣ, уже почти сложившемуся маленькому человѣку, она будетъ тяжела, какъ гнетъ.

Днемъ и ночью неотступно, каждое мгновеніе, надъ головою Ины склоняется блѣдное, встревоженное лицо Евгенія, ухаживающаго съ трогательной заботой за умирающей невѣстой. И вѣчный нѣмой вопросъ застываетъ въ его глубокихъ, тоскующихъ глазахъ. Больная мечется сильнѣе подъ этимъ скорбнымъ, вымученнымъ взглядомъ; ей хочется упасть на грудь этого милаго человѣка и разсказать ему все, все, все!

И ночью безпокойно блуждающіе глаза встрѣчаютъ у своей постели то же милое лицо, эти же тоскующіе глаза, отравленные мукой страха за ея жизнь.

— Мальчикъ мой! Листикъ ненаглядный!.. Худо вамъ? Очень худо?—таетъ чуть слышный шепотъ надъ ея головой.

Туманится мозгъ, цѣпенѣютъ мысли, и надвигается призракъ смерти, холодный, страшный, нѣмой...

Но сильный организмъ и всѣ пущенныя докторомъ Курцевымъ въ ходъ средства пресѣкаютъ болѣзнь, вырываютъ у смерти намѣченную жизнь.

* * *

Былъ постъ, первая недѣля. Звонили колокола. Ната говѣла, причащалась въ субботу. Она забѣжала къ матери, робкая и радостная въ своемъ бѣленькомъ платьѣ, внося съ собою особенную чистоту. И подъ нѣжнымъ поцѣлуемъ дѣтскихъ губенокъ Ина впервые почувствовала— она спасена.

А маленькая, уютная квартирка была вся заставлена цвѣтами. Друзья, издатели, сотрудники, читатели — всѣ позаботились привѣтствовать ея спасеніе.

Бѣлыя розы Евгенія красиво выдѣлялись на столикѣ у самой постели. Съ ними больная не хотѣла разстаться ни за что.

— Вы выходили меня, вырвали у смерти... Своимъ уходомъ за мной, своей любовью,—говорила Ина, слабыми пальцами сжимая руку Нераева,—вы—мой лучшій другъ.

А подъ подушкой лежали нераспечатанными письма „другого", и пурпуровые алые цвѣты, присланные имъ, дерзко заявляли свои права изъ дальняго угла комнаты и тонкимъ ароматомъ напоминали о послашемъ ихъ ей человѣкѣ...

VII.

— Вержболово!

— Пріѣхали? Неужели? Уже пять часовъ?

— Три четверти шестого... Вы, кажется, дурно спали?—и хорошенькая головка Зиночки Клокъ свѣсилась съ верхняго мѣста, похожая на кудряваго, румянаго мальчугана, выглядывающаго съ полатей.

Крестясь и вдыхая, поднималась Ситина со своего дивана.

— Что, плохо спали?—любезно освѣдомилась у Лерской и она.

Синія тѣни подъ нижними вѣками углубили глаза; по лицу Ины было видно, что она ни минуты не спала. Стыдно было сознаться о причинѣ безсонницы: всю ночь прокопошилась она въ прошломъ, какъ дѣвочка-институтка прогрезила до зари.

Быстро, лихорадочно поднимались пассажиры, наскоро одѣвались, приводили себя въ порядокъ.

— А мой пруссакъ уже всталъ... „мужъ напрокатъ“. Вошелъ въ свою роль, вообразите, и уже предлагалъ кофе... Ахъ, милушка, лишь бы инцидентъ прошелъ благополучно!—звенѣлъ нѣсколькими минутами позднѣе серебристымъ колокольчикомъ Зиночкинъ голосъ, и сама она, кокетливая, нарядная и душистая, уже мчалась въ сосѣднее купе.

— Ваши паспорты, медамъ, пожалуйте!

Черноусый ротмистръ, о которомъ упоминала Клокъ, заглянулъ въ вагоны и отобралъ документы.

Слышно было, какъ въ сосѣднемъ отдѣленіи онъ объяснялся съ пруссакомъ.

— Ахъ, Боже мой, что я только пережила!—влетая въ дамское купе и хохоча, какъ сумасшедшая, болтала Зиночка.—Ну, совсѣмъ какъ на выпускномъ экзаменѣ въ институтѣ. Этотъ черноусый дьяволъ какъ вопьется въ меня глазищами, какъ вопьется! Вотъ, вотъ, думаю, сейчасъ по-нѣмецки заговоритъ, а я ни бе, ни ме на этомъ діалектѣ, абсолютно изъ институтскихъ премудростей не вынесла ничего. Брр! Положеніе не изъ завидныхъ. Вся потомъ обливалась, пока они торчали въ вагонѣ. Зато, какъ ушелъ ротмистръ съ жандармомъ, на меня какое-то мальчишеское настроеніе наскочило. Обращаюсь къ своему фиктивному муженьку, да и говорю: „Ich habe schmutzige Beine“,—молъ, пойду, руки у меня грязныя, вымыть. А онъ какъ заржетъ; и другіе всѣ какъ захохочутъ. „Съ чего?“—думаю; даже обидно стало. Оказывается, надо

было „Hände“, сказать, а не Beine“. „Beine“—то ноги, а руки у нихъ, видите ли, Hände на-нѣмецкомъ діалектѣ. Ну, его къ шуту совсѣмъ, нѣмецкій языкъ! Я въ институтѣ-то его учить за грѣхъ считала. Совсѣмъ мнѣ даже расхотѣлось и ѣхать-то къ этимъ нѣмцамъ. Еврей тутъ одинъ—видѣли вчера?—околачивался; такъ онъ съ нимъ въ Брюссель на выставку прокатиться предлагаетъ.

— Неужели уже согласились?—пожала плечами Ситина.

— А почему нѣтъ? Французскій діалектъ я тоже не очень-то знаю, но калякать кое-какъ могу. А онъ какъ бы вродѣ проводника, не больше... Что же тутъ худого? я...

Зиночкѣ не пришлось докончить свою фразу. Въ корридорѣ четко вырисовалась красивая фигура пруссака.

— Möchten Sie vielleicht spazieren, gnädige Frau? (не пожелаете прогуляться, сударыня?).

И Зиночка снова стремительно выскочила изъ купе.

Въ Эйдкуненѣ, въ таможнѣ, визировали паспорта и багажъ. Было холодно и пасмурно по зимнему.

— А въ Берлинѣ снѣгъ шелъ тому дней восемь,—говорилъ въ корридорѣ чей-то мужской голосъ.

Вышли въ ревизіонный залъ. Типичный прусскій фельдфебель выкрикивалъ въ одномъ углу фамиліи владѣльцевъ паспортныхъ книжекъ, безсовѣстно перевирая русскія имена. Молоденькій, бѣлокурый нѣмецкій поручикъ долго копошился въ нарядныхъ отдѣланныхъ кружевами и лентами dessous Лерской, изумленно таращилъ глаза на огромное количество изящныхъ чулокъ и перчатокъ; долго не могъ справиться съ хитрымъ замкомъ хо-

рошенькаго дамскаго нессесера и кончилъ тѣмъ, что молодецки закрутилъ распущенные, какъ у кота, бѣлобрысые усы и метнулъ въ Ину сантиментально-игривый взоръ.

— Ахъ, ты, бѣлобрысая сосиска!—чуть не вслухъ отпарировала она и, принявъ видъ оскорбленной добродѣтели, демонстративно повернулась спиной къ прусскому поручику.

Пересѣли въ нѣмецкій поѣздъ. Усталость, безсонная ночь, бѣшеная тряска нѣмецкаго экспресса — все это убійственно вліяло на Лерскую; ей хотѣлось покоя, забвенья.

До Берлина пришлось ѣхать въ общемъ отдѣленіи. Пассажировъ тамъ собралось шестеро: Ина, Зиночка, Ситина, великодушный пруссакъ, окончательно вступившій въ роль дорожнаго покровителя Зиночки, еврей-лингвистъ и какой-то коммерсантъ изъ Вильны, не то полякъ, не то русскій.

Отъ Зиночкиной трескотни хуже разболѣлась голова. Пруссакъ дѣлалъ умильные глаза не только своей фиктивной супругѣ, но и ей, Инѣ, попутно. Еврей-лингвистъ говорилъ о жестокомъ законѣ, преслѣдующемъ семитовъ, а между тѣмъ ихъ племя дало такой блестящій подборъ великихъ именъ: Спиноза, Карлъ Марксъ, Рубинштейнъ. Коммерсантъ изъ Вильны поддакивалъ больше изъ любезности. Ситина читала Евангеліе въ уголку. Зиночка съ наивнымъ видомъ институтки пересчитывала бѣгущіе навстрѣчу поѣзду предметы: „Вотъ солдатъ... Это—уже нѣмецкій солдатъ? И свинья? Смотрите! Границу переѣхали, значитъ и свинья нѣмецкая тоже“.

— Ja wohl, ja wohl! (Да! Да!) Кивалъ и улыбался красивый пруссакъ, не понимая ни слова.

Къ семи часамъ надѣялись быть въ Берлинѣ. За два часа потянулись предмѣстья. Цѣлый лѣсъ цвѣтущихъ яблонь представился глазамъ путниковъ. Ихъ бѣлые цвѣты ковромъ устилали землю и дурманящимъ ароматомъ былъ напоенъ воздухъ, медвяный и сладкій, какъ вино.

— А говорили—снѣгъ былъ. Чепуха!.. Вонъ яблони цвѣтутъ!

Вся усталость Лерской куда-то миновала. Эти бѣлыя яблони, какъ бѣлыя дѣвушки, олицетворяли собою красоту и свѣжесть весны. Уже, переѣхавъ границу, Ина почувствовала знакомую жажду, неотразимое желаніе испить всѣ впечатлѣнія до дна. Все было ново, неисчерпано и какъ-то по-дѣтски ясно и свѣжо западало въ душу. Частыя каменныя мызы и деревни нѣмецкихъ крестьянъ съ обязательной церковью и школой, тщательно обработанныя поля, утилизованная до мельчайшей подробности вся эта небогатая культура. Особая порода деревьевъ, густо насаженныхъ здѣсь, съ огромными безобразными корнями, предназначенными для осушенія почвы. Постоянно мечущіеся невысоко надъ землею аисты съ длинными шеями, такіе смѣшные, и эти яблони, одуряюще-прекрасныя въ ихъ бѣломъ цвѣту!..

„Если бы Данька былъ здѣсь со мною! Если бы... милый далекій жрецъ!“—ныло ея сердце и нестерпимо влекло къ дорогому существу.

До болѣзненности подробно вставало послѣднее свиданіе. Уютная комната; пушистый коверъ, повторенное

отраженіемъ зеркала лицо дорогого человѣка; его объятья, тѣсныя, жаркія, за которыя она готова была идти на казнь... на лютую казнь.

„Данька! Желанный! Я люблю тебя безконечно!— въ тонъ поѣздныхъ колесъ выстукивала мысль.—Ты мнѣ далъ наслажденіе и страданіе любви, то и другое одинаково цѣнное. Одинаково дороги оба!“—беззвучно пѣла ея душа.

Подъ тѣмъ же впечатлѣніемъ полнаго, беззавѣтнаго чувства къ Клочевскому, Ина прощалась съ попутчиками на вокзалѣ Фридрихштрассе въ Берлинѣ. Крѣпко, по-мужски, пожала ей руку Ситина, душила въ объятьяхъ Зиночка, смѣнившая великодушнаго пруссака на еврея-лингвиста, увозившаго ее въ Брюссель съ остановкою въ Берлинѣ, что было поставлено ему непремѣннымъ условіемъ маленькой, нарядной и хорошенькой женщиной.

— До свиданья, душечка, увидимся во Франценсбадѣ. Помните, я—вашъ вѣрный компаньонъ! — звонко кричала она, останавливая на себѣ недоброжелательные взгляды почтенныхъ, уравновѣшенныхъ нѣмцевъ и ихъ добродѣтельныхъ супругъ.

Все послѣдующее, казалось, было прожито, какъ во снѣ, Иной. Ловкій носильщикъ, съ типичнымъ жаргономъ мюнхенскаго крестьянина, попавшаго на заработки въ Берлинъ; важный, олимпійскаго вида, на высокихъ козлахъ кучеръ, въ цилиндрѣ съ галунами, звонки трамваевъ, залитыя асфальтомъ, какъ огромный скэтингъ-ринкъ, улицы, уличные конькобѣжцы на каждомъ шагу, пѣшеходы, грозные полисмэны и всюду и вездѣ необы-

чайная европейская чистота большого мірового города,— все это нестрило голову цѣлымъ хаосомъ новыхъ впечатлѣній.

Пришлось мѣнять деньги на вокзалѣ, выбирать съ комиссіонеромъ гостиницу и мчаться по лучшей части города въ его не менѣе людный конецъ.

Въ прелестномъ, какъ игрушка, отелѣ „Саксонія“, въ нарядномъ номерѣ, похожемъ на бонбоньерку, съ окнами, выходящими на улицу Греческаго короля, только и пришла въ себя Ина.

Въ этотъ вечеръ она уснула не скоро: шумъ большого города врывался къ ней сквозь ставни и опущенное драпри.

Весна играла и пѣнилась за окнами, какъ хмельное вино черезъ край бокала, а въ душѣ закипала печаль. Хотѣлось до боли прижать сейчасъ къ груди Нату, расцѣловать милое, родное личико дѣвочки, протянуть руки Евгенію, смотрѣть въ его печальные глаза и съ головокружительнымъ чувствомъ неземной любви, ненасытной и острой, идти навстрѣчу объятьямъ Клочевскаго, упасть въ нихъ и замереть навѣки.

VIII.

Маленькій богемскій курортъ на границѣ Австріи непривѣтливо встрѣтилъ Лерскую. Плакали затянутыя дымкой дождевого тумана Богемскія горы, сурово хмурился ближній потухшій вулканъ. Тамъ, въ Берлинѣ, она оставила торжествующія улыбки ранняго весенняго расцвѣта, здѣсь обнаженными стояли каштаны подъ окнами и царилъ настоящій осенній холодъ.

Старая дѣва, фрейлейнъ Хельдеръ, хозяйка „дома для пріѣзжающихъ“, сочувственно поглядывала на Ину и въ сотый разъ принималась увѣрять ее, что въ апрѣлѣ у нихъ было жарко, какъ лѣтомъ, и что у нея въ „Квисисанѣ“ кормятъ, какъ въ раю. У хозяйки былъ унылый видъ тоскующей обезьяны, и крайне не гармонировалъ съ этимъ видомъ зеленый бантъ въ сѣдѣющихъ волосахъ.

Сезонъ только что начался; многія квартиры еще не были отдѣланы, а на бельведерѣ „Квисисана“ уже гостепріимно развѣвался бѣлый флагъ. Выбирать не приходилось, и Ина, не задумываясь сняла комнату у фрейлейнъ Хельдеръ, потерявъ всякую надежду на болѣе благопріятный пріютъ.

Подъ проливнымъ дождемъ, по выложенному асфальтомъ тротуару, она вошла въ сосѣднее съ ея отелемъ жилище доктора Шнейдера, котораго указалъ ей предъ отъѣздомъ Курцевъ. Въ маленькомъ, совершенно еще голомъ, безъ всякой растительности садикѣ, окружавшемъ виллу, ее встрѣтилъ высокій, статный, красивый еврей; отъ него пахло хорошими, дорогими сигарами и крѣпкими, вкусными духами. Докторъ оказался очень внимательнымъ, милымъ человѣкомъ.

— Но, но... не слѣдуетъ отчаиваться. Мой петербургскій коллега писалъ мнѣ о васъ. Все пойдетъ великолѣпно... Не волнуйтесь!—сказалъ онъ, подробно и внимательно осматривая свою паціентку.—Черезъ мѣсяцъ будемъ танцовать... А пока долой корсетъ, долой высокіе каблуки и это бѣлье-паутинку... Забудемъ, что мы—изящная женщина, и предадимся лѣченію, какъ лю-

бимому мужу...—сострилъ онъ съ чисто нѣмецкой тяжеловѣсностью, оглядывая съ головы до ногъ тонкую, маленькую фигурку смущенной Ины.

— О, я буду послушна!—улыбнулась она.

— Вы говорите, какъ природная нѣмка, и это облегчаетъ задачу,—пошутилъ докторъ. — Ну-съ, итакъ, приступимъ: утромъ вставать въ семь, ранній завтракъ. Затѣмъ, въ восемь часовъ Зальцквелле *). Четыре унціи воды и прогулка четверть часа. Затѣмъ еще четыре унціи и опять прогулка. Ванны въ Кайзербадѣ, третій номеръ; сильнѣйшія грязи міра—воскрешаютъ покойниковъ. Сначала возьмемъ для безопасности второй номеръ, тридцать градусовъ. Лежать послѣ ванны два часа. Въ четыре кефиръ. Въ шесть опять соленую воду и источникъ Зальцквелле. Въ семь ужинъ и въ девять обязательно спать. Пожалуйста будьте пунктуальны! Непремѣнно гуляйте послѣ водъ, и—я ручаюсь—вы поправитесь въ одинъ мѣсяцъ. Ручаюсь за одинъ мѣсяцъ,—увѣреннымъ тономъ повторилъ онъ, ловко опуская въ карманъ жилета пеструю бумажку въ десять кронъ.

* *
*

Жизнь въ курортѣ начиналась рано, но Ина вставала въ семь и только къ восьми поспѣвала къ источнику. Зябко кутаясь въ широкое мѣховое боа, въ бѣломъ вязаномъ сакѣ, съ американской шапочкой на густыхъ волосахъ, Лерская своею стремительностью, дѣловито-сосредоточеннымъ видомъ и большими ищущими

*) Соляной источникъ.

глазами обращала на себя невольное вниманіе. У нея подъ мышкой былъ цѣлый ворохъ газетъ, присылаемыхъ ежедневно изъ милой Россіи, а въ рукахъ стеклянная кружка съ трубочкой для цѣлебныхъ водъ. Она быстро шагала къ источнику, заключенному въ большой красивой ротондѣ, заканчивавшейся длинной стеклянной галлереей, съ бюстами устроителей курорта и латинскими посвященіями въ честь ихъ на каждомъ шагу. Больныхъ собралось пока немного, сезонъ едва начался. Цѣлая армія миловидныхъ „водяныхъ дѣвочекъ“, прислужницъ у источниковъ, усиленно чистила, скребла, мыла и мела ротонду, самый резервуаръ и длинную печь-грѣлку, служащую для нагрѣванія кружекъ минеральной воды для потребителей.

Краснощекій вѣнецъ - управляющій съ длиннымъ, испещреннымъ багровыми жилками, носомъ предупредительно срывалъ каждый разъ фуражку при появленіи Ины и, обнажая желтые зубы, бросалъ свое обязательное: „Ich Küsse die Hand“ *), и вслѣдъ за нимъ вся армія „водяныхъ дѣвочекъ“ привѣтствовала ее хоромъ тоюже фразою.

— Ich Küsse die Hand!—звучало нестройно и весело на разные голоса.

Первою слѣдомъ за Иной прибѣгала плоскогрудая американка въ невозможной шляпкѣ-блинѣ, въ преувеличенно-короткой юбкѣ, съ кожаной сумкой черезъ плечо. Она бросала свое „Guten Morgen“, точно икала, и, стуча

*) У австрійцевъ принято привѣтствовать дамъ этою фразою, означающею въ переводѣ на русскій языкъ:—„Цѣлую руку“.

слонообразными башмаками, долго полоскала у резервуара свою кружку для воды. Пила она долго, маленькими, симметричными глотками, и такъ же долго металась по длинной аллеѣ Изабеллы, помогая моціономъ дѣйствію воды. Она точно священнодѣйствовала, и невозможно было смотрѣть безъ затаеннаго смѣха на эту нелѣпую фигуру.

Затѣмъ появлялась пожилая брауншвейка, страдающая ревматизмомъ ногъ. Она была толста, жалка и симпатична; у нея было лицо доброй деревенской повитухи, со съѣхавшими на кончикъ носа круглыми очками, а на больныхъ ногахъ всегда надѣты теплые мѣховые сапоги, на рукахъ вязаныя перчатки и теплое мѣховое же пальто съ лисьимъ палантиномъ-воротникомъ. Она улыбалась Инѣ, какъ знакомой, и долго копошилась у грѣлки со своей кружкой, желая и не рѣшаясь заговорить съ Лерской.

Приходилъ почтеннаго вида маленькій старичекъ подъ-руку съ дочерью — очаровательная пара, изящная и миніатюрная, перенесенная сюда какъ будто изъ эпохи романтизма. Дочь была похожа на гетевскую Гретхенъ, чистенькую, невинную и розовую, какъ цвѣтокъ, онъ— весь преисполненный отеческой заботы и нѣжности къ ней.

Прибѣгали двѣ вѣнскія еврейки и сразу наполняли ротонду своимъ невозможнымъ жаргономъ. За ними появлялись хромой раввинъ, два австріака-кавалериста, миловидная дамочка съ подругой изъ Праги и наконецъ „онъ“.

Когда входилъ „онъ“, „водяныя дѣвочки“ бросали работу и впивались жадными отъ любопытства взорами въ высокую, широкоплечую фигуру, облаченную въ модное пальто-колоколъ, въ лицо, чуть тронутое оспой, съ мрачно горящими черными глазами, съ горделиво-надменной улыбкой на губахъ. Элегантная фуражка, высокая трость съ золотымъ набалдашникомъ, военная выправка кавалериста, легкое припаданіе на больную, подагрическую ногу,—все это было ничто въ сравненіи съ тѣмъ легендарнымъ богатствомъ, которое спустилъ этотъ красивый, смуглый австріакъ. Его считали полупомѣшаннымъ. Но и таковъ, какимъ онъ представлялся людямъ, онъ былъ обаятельно-интересенъ. Это—„недавній Ротшильдъ“ изъ вѣнскихъ кавалеристовъ. Изъ почтительнаго шепота всѣхъ этихъ источниковскихъ Ани, Лизи, Генріеттъ и Мари Ина успѣла узнать его недавнее прошлое. Онъ сорилъ деньгами съ неподражаемымъ хладнокровіемъ и все на женщинъ, все на женщинъ—полмилліона гульденовъ просадилъ онъ на нихъ и шампанское. Недавно онъ продалъ послѣднія помѣстья и еще въ прошломъ году угощалъ на вечерѣ въ курзалѣ всѣхъ знакомыхъ и незнакомыхъ послѣ танцевъ роскошнымъ ужиномъ, чтобы понравиться какой-то французской актрисѣ, очень рыжей и очень немолодой.

Ина съ невольнымъ любопытствомъ оглядывала красивую, статную фигуру австріака и думала про себя:

„Онъ правъ. Жизнь, какъ бы она ни была, прожита для него пріятно, по его вкусу по крайней мѣрѣ. И это самосознаніе должно служить ему утѣшеніемъ“.

Когда она ровной, неторопливой походкой пробѣгала по главной аллеѣ Изабеллы, прилегающей къ источнику, „недавній Ротшильдъ“ взглядомъ цѣнителя окидывалъ ея фигуру и долго непріятно-мрачными глазами, упорно и настойчиво смотрѣлъ ей вслѣдъ.

* * *

Медленно и вяло проходили недѣли. Ина принимала уже девятую ванну и каждый разъ, погружаясь въ густую вонючую зеленовато-черную грязь, чувствовала, что еще два-три такихъ Moorbad'a—и отъ ея и безъ того ослабѣвшаго послѣ болѣзни тѣла не останется ничего. Она поблѣднѣла еще больше, глаза ввалились и горѣли лихорадочнымъ огнемъ.

— Это отъ слабости,—утѣшая ее, говорилъ докторъ и похлопывалъ по плечу на правахъ стараго доброжелателя.—Наши грязи—первыя въ мірѣ, онѣ воскрешаютъ мертвыхъ. Терпѣніе, терпеніе, и черезъ мѣсяцъ мы будемъ молодцомъ!

Невозможная слабость сковывала тѣло Ины, и вслѣдствіе этой слабости ея не тянуло никуда. Цѣлые дни проводила она на кушеткѣ и перечитывала письма изъ Россіи. Они приходили часто, аккуратно. Дѣтскія неровныя, старательно выписанныя строки Наты; полныя запросовъ, мольбы „не забывать“ и горячихъ признаній въ вѣчной любви Евгенія и сладкій влюбленный бредъ, красивый, какъ поэма, страстный, пламенный, острый языкъ Клочевскаго.

Эти длинные листы англійской бумаги, исписанные

вдоль и поперекъ его сильнымъ, энергичнымъ почеркомъ, умѣли и на разстояніи зажечь и безъ того неусыпно пылавшую къ нему ея страсть. Усталость Ины исчезала; жадно тянулась душа къ далекому кумиру. Эти письма были торжественнымъ гимномъ, посвященнымъ восхваленію обоготворяемаго существа, и призывомъ, зовущимъ къ дальнѣйшимъ и безумнѣйшимъ наслажденіемъ.

Хмельные сны снились Инѣ каждую ночь, томительно-обаятельный образъ любимаго человѣка дразнилъ сонной грезой, млѣло ея тѣло, тосковала душа.

А дни тянулись убійственно скучные, мучительно долгіе! Лѣто шло медленно и робко приближалось сюда. Прошли холода, дожди прекратились. Распустились каштаны подъ окнами. Сочно зазеленѣлъ въ паркѣ свѣжій газонъ. На аллеѣ Изабеллы ползали садовники во главѣ съ хозяиномъ—маэстро цвѣточнаго дѣла—вокругъ клумбъ, сажали бѣлые, какъ снѣгъ, нарциссы, розоватыя маргаритки, голубые анютины глазки, пурпуровые и желтые тюльпаны и одуряюще пахучій левкой. Съ четырехъ до семи вечера гремѣла музыка въ курпаркѣ, а по утрамъ у источниковъ она же исполняла легкія, гривуазныя вещицы для увеселенія больныхъ.

Курортъ ожилъ, измѣнилъ свой обликъ. Пестрая, нарядная толпа засновала по аллеѣ Изабеллы, сидѣла на скамейкахъ, тянула воду черезъ стеклянныя трубочки и говорила на всѣхъ міровыхъ языкахъ.

Показались шикарныя кокотки изъ Парижа и Вѣны, гвардейскіе офицеры изъ находившагося въ пяти мину-

тахъ ѣзды по желѣзной дорогѣ города Эгера со знаменитымъ замкомъ, гдѣ погибъ Валленштейнъ. Молодые и пожилые австріаки, представители пѣхоты и кавалеріи, пестрѣли своими бѣлыми, синими и голубыми мундирами, тщательно выискивая глазами изъ-подъ низко надвинутыхъ высокихъ кэпи хорошенькія дамскія личики въ толпѣ больныхъ.

Но для Ины этотъ міръ не существовалъ. По утрамъ, чуть живая отъ слабости, выходила она изъ деревяннаго маленькаго подвижного бассейна, вся облѣпленная цѣлебною грязью, и терпѣливо опускалась въ очистительную ванну. И, пока дѣвушка, прислуживавшая ей въ ея номерѣ, растирала ее мокрую и потную, мохнатыми простынями, Инѣ казалось, что она умретъ здѣсь, растаетъ отъ слабости, какъ свѣча, и никогда не увидитъ больше Россіи. Пока невозможно громыхающая карета трясла ее по дорогѣ въ ея гостиницу, тѣ же мрачныя мысли не отпускали ея ни на минуту. И только, когда хорошенькая австріачка Лизи, одна изъ четырехъ горничныхъ фрейлейнъ Хельдеръ, приносила ей почту, Лерская временно оживала, и легкій румянецъ появлялся на ея лицѣ.

Теперь, когда свободнаго времени у нея было такъ убійственно много, предъ нею часто всплывалъ жгучій вопросъ: она любитъ Клочевскаго всѣмъ трепетомъ нѣжной, преданной души; безъ него немыслимо существованіе... а Женя? Холодный потъ проступалъ на лбу при одной этой мысли, высокій лобъ бороздили морщины. Женя, милый, неизмѣнно-чуткій, преданный собачьей преданностью, вѣрный, надежный! Послѣ Наты онъ ей—

какъ сынъ, какъ братъ, какъ другъ единственный и любимый. Она брала его письмо въ нервныя, дрожащія руки. Вотъ онѣ, трепетныя, спѣшащія строки, горячія, порывистыя, какъ и онъ самъ, иногда нелѣпыя, въ силу ревности, подозрѣнія:

„Листикъ мой! Жить безъ васъ не могу! Думаетъ обо мнѣ хоть изрѣдка мой мальчикъ?“ — „Умоляю, не смотрите на австрійскихъ чертей. Эти мерзавцы красивы, какъ боги“... —„Я умру, если Листикъ, безумно любимый, оттолкнетъ меня“...

И рядомъ съ этимъ чистымъ письмомъ, примитивнымъ и искреннимъ, какъ напѣвъ природы, сильныя, полны страсти строки Даніила:

„Поправляйся, моя крошка, птичурка золотая, возвращайся къ своему жрецу! Храмъ временно опустѣлъ, богиня временно покинула его, но вѣрный жрецъ карауллитъ ея возвращеніе у порога. Ни одна женщина не привлекаетъ, кромѣ тебя, онѣ всѣ мнѣ сейчасъ противны. Лѣсная, озерная богиня всецѣло владѣетъ своимъ Данькой. Птичурка, милая, безцѣнное, дорогое, любимое существо!.. Я жажду тебя, я хочу тебя, твоихъ ласкъ, твоего горячаго тѣльца, твоихъ жаркихъ объятій. Ты—титанъ, ты—сила. Я признаю это. Твои письма—мощное торжество любви. Не гони меня отъ себя!.. Я хочу держать тебя постоянно въ своихъ объятіяхъ, хочу цѣловать мои ножки, мою грудку, мое восторженное личико, всего моего хлопчика милаго, хочу слиться съ тобою и улетѣть далеко отъ земли. Поправляйся, крошка милая, не забывай своего Даньки“.

Забыть его!

Кровь приливаетъ къ вискамъ... стучитъ сердце... А силы слабѣютъ и падаютъ съ каждымъ днемъ... съ каждымъ днемъ...

IX.

— Ich küsse die Hand!.. Васъ спрашиваютъ ваши соотечественники!—слышитъ Лерская.

Лицо Лизи растянулось въ широчайшую улыбку. Она съ особеннымъ удовольствіемъ готова нести какую бы то ни было радость этой слабой, печальной русской, которая такъ ласкова и щедра къ ней.

— Ваши соотечественники, сударыня, просятъ разрѣшенія войти.

— Русскіе?—Ина широко раскрываетъ изумленные глаза.

Въ теченіе трехъ недѣль, проведенныхъ здѣсь, она старательно избѣгала встрѣчъ съ ея единоплеменниками. Евгеній, такъ просилъ не знакомиться съ мужчинами, чтобы, какъ онъ пояснилъ ей при прощаніи, онъ могъ спокойно спать, не ревнуя. А здѣшнія женщины, пріѣхавшія на лѣчебный курортъ, такъ безсодержательны и заняты своими туалетами, которые они мѣняютъ по четыре раза въ сутки, что Ина благоразумно рѣшила держать себя отъ нихъ въ сторонѣ.

„Кто бы могъ найти меня здѣсь?“—думала она, но ей не даютъ времени сообразить.

— Можно войти? — звенитъ знакомый голосъ за дверью.

— Зиночка Клокъ!

— Тѣ же и она, конечно!—и что-то пестрое, шумное, свѣжее и веселое, какъ птичій гомонъ, какъ майское утро, падаетъ на грудь Ины.

На Зиночкѣ шляпа „котломъ“ съ цѣлой рощей страусовыхъ перьевъ, бѣлое манто, изъ-подъ котораго сквозитъ море кружевъ. Она похожа на нарядную бабочку, и только ея личико какъ бы отцвѣло и подурнѣло.

— Зинаида Аркадьевна, вы были нездоровы, дѣтка!—говоритъ Ина, съ удовольствіемъ пожимая руку этому двуногому мотыльку, и добавляетъ лукаво:—а вашъ лингвистъ?

— Ина Михайловна... голубушка! Называйте меня попросту Зиной. Я буду такъ счастлива! — лепечетъ Клокъ. — А лингвистъ — чертъ съ нимъ! я бросила его еще въ Брюсселѣ. Ужасное животное! Вздумалъ кормить меня по полупорціи въ ресторанѣ, брать одинъ обѣдъ на двоихъ и возить въ трамваяхъ. Жи-ла! Зато теперь... Меня проводилъ сюда одинъ русскій, помѣщикъ изъ Тулы... У него ревматизмъ, у бѣдняжки... Будетъ здѣсь лѣчиться. Ина Михайловна, роднушка, дусенька, будьте съ нимъ полюбезнѣе!.. Онъ—хорошій человѣкъ, только со странностями... Зато богатъ, какъ Крезъ, и... и въ меня влюбленъ... какъ лошадь. Не вѣрите? Ей-Богу!.. Онъ меня здѣсь ждетъ. Вы позволите мнѣ представить его вамъ?

— Зина... Ты скоро? — слышится хрипловатый голосъ за дверью.

— Это—онъ... Вы позволите?—Испуганное выраже-

ніе появилось на хорошенькомъ личикѣ Зиночки, и, не дожидаясь разрѣшенія Лерской, она кричитъ:—войдите, Сержъ, войдите! госпожа Лерская приглашаетъ васъ.

Ина невольно пятится къ окну при видѣ новой фигуры. Это—тощій, желчный маленькій человѣкъ въ синемъ пенснэ, съ худыми руками, унизанными кольцами, съ массивной золотой цѣпью на изысканно модномъ жилетѣ. Онъ въ достаточной мѣрѣ желтъ, худъ и немощенъ. Съ видомъ собственника скользнувъ по фигурѣ Зиночки мимолетнымъ недовольнымъ взглядомъ, онъ отвѣшиваетъ съ принужденной любезностью поклонъ Инѣ.

— Радъ видѣть... Много слышалъ о васъ отъ этой трещетки. Умныхъ женщинъ такъ мало. Все больше насчетъ тряпичнаго вопроса! — болѣзненно морщась, роняетъ онъ.

— Благодарю за лестное мнѣніе,—насмѣшливо кланяется Ина.

— Сержъ, не правда ли, вы представляли себѣ знаменитую Лерскую другой?—дѣлая невинное личико, съ ребяческой развязностью лепечетъ Зина.

— Умную женщину нельзя себѣ представить обыкновенной дурой; она—не чета другимъ, — рѣзко обрываетъ Сержъ и награждаетъ свою даму убійственной по своему значенію улыбкой.

Инѣ становится неловко, и, чтобы вывести изъ непріятнаго положенія притихшую барыньку, она предлагаетъ гостямъ пройтись по променаду.

Зиночка въ восторгѣ отъ ея предложенія.

Они пріѣхали сюда три дня назадъ, но гуляютъ такъ

мало. У Сержа болятъ ноги. На променадѣ сыро по вечерамъ, а ей такъ хочется посмотрѣть туалеты!

— Праздное любопытство!—ворчливо вставляетъ ея кавалеръ.

У Зиночки на глазахъ слезы.

Ина спѣшитъ увести ихъ обоихъ въ паркъ.

На Изабелла-променадѣ пестрая, нарядная толпа гуляющихъ. Среди цѣлаго цвѣтника роскошныхъ женскихъ костюмовъ мелькаютъ цвѣтные мундиры австрійскихъ офицеровъ и черные со строгимъ, темнымъ шитьемъ военные пальто и плащи. У новаго источника Франца—небольшой бесѣдки, со сплошными стеклянными стѣнами, гремитъ музыка противъ курзала — обычный четверговый концертъ. По широкой аллеѣ снуютъ больные съ кружками въ рукахъ. Впрочемъ трудно назвать больными всѣхъ этихъ шикарно разодѣтыхъ женщинъ всѣхъ націй и слоевъ общества. Франценсбадъ славится своими цѣлебными грязями по своему міру, и немудрено, что въ лѣчебный сезонъ отъ мая до сентября мѣстечко осаждается пріѣзжающими со всѣхъ концовъ міра.

Рядомъ съ блестящей, очаровательной парижанкой мелькаетъ желтое лицо изможденнаго недугомъ старца или изнуренная внѣшность везомой въ креслѣ-коляскѣ женщины, или полумертваго отъ подагры больного съ теплымъ пледомъ на ногахъ. Такихъ креселъ-колясокъ встрѣчается на променадѣ немало, и они странно дисгармонируютъ съ приподнятымъ, праздничнымъ настроеніемъ снующей, щебечущей и флиртующей толпы.

Выбравъ мѣсто на крайней скамейкѣ, ближайшей къ

ротондѣ соляного источника, и наполнивъ свои кружки, Лерская съ Зиночкой и ея спутникомъ, Сергѣемъ Васильевичемъ Горниловымъ, занялись наблюденіемъ, прихлебывая воду.

— Возмутительно... чертъ знаетъ что такое!—послѣ долгаго молчанія желчно роняетъ ихъ кавалеръ.—Гдѣ же больные? Настоящіе больные гдѣ? Сдѣлаютъ изъ порядочнаго курорта какой-то шустеръ-клубъ съ позволенія сказать, и довольны. Гадость! Глазъ бы, кажется, сюда не показалъ бы, если бы не...—и онъ бросаетъ новый недоброжелательный взглядъ въ сторону Зиночки.

— Смотрите, душечка, какое платье!—восторженно шепчетъ та, стараясь не понять намека, и указываетъ глазами на проходящую мимо красавицу-вѣнку въ изысканномъ туалетѣ...

Ина равнодушно поводитъ глазами и вздрагиваетъ отъ неожиданности. Прямо противъ нея съ тяжелымъ, пронизывающимъ взглядомъ большихъ черныхъ тусклыхъ глазъ стоитъ „недавній Ротшильдъ“, какъ всѣ называютъ здѣсь смуглаго австріака. Его взглядъ, неопредѣленный и сухой взглядъ кретина, устремленъ ей прямо въ лицо. Какъ-то жутко и неловко становится отъ этихъ глазъ, преслѣдующихъ ее упорно и настойчиво при каждой встрѣчѣ. Лерская раздраженно отворачивается, нетерпѣливо дергается всѣмъ тѣломъ и, повернувшись спиной къ назойливому австріаку, съ преувеличенной поспѣшностью говоритъ:

— Въ Россіи теперь авіаціонная недѣля. Безумно смѣлые полеты, цѣлая плеяда смѣльчаковъ. Потомъ фин-

ляндскій вопросъ. Агонія автономіи маленькаго государства. А мы здѣсь за тысячу слишкомъ верстъ, въ чужой сторонѣ, среди чужихъ людей, оторванные отъ всего близкаго...

— Среди чужихъ народовъ!—безпечно смѣется Зиночка, стрѣльнувъ глазками въ проходящаго офицера.

— Вы ведете сабя, какъ модистка!—желчно шипитъ ея кавалеръ, морщась отъ боли и незамѣтнымъ движеніемъ руки потирая больное колѣно. Затѣмъ, не давъ опомниться сразу притихшей Клокъ онъ, повышая голосъ, обращается къ Инѣ:—да, „дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ“, а между тѣмъ у насъ вотъ не дойдутъ до такого благоустройства, до котораго дошли эти нѣмцы. Предпочитаютъ наши простаки перекладывать въ чужеземные карманы русское золото. Выгоднѣе, видите ли. На административныя нужды и прочее такое у нихъ есть капиталы, а нѣтъ того, чтобы позаботиться объ удобствахъ обывателя. Кавказскія грязи, Одесса, лиманъ, все это—помойная яма...

Горниловъ начинаетъ увлекаться, говоритъ желчно, раздраженно и слишкомъ громко. На нихъ обращаютъ вниманіе.

Три офицера проходятъ мимо. Двое сразу заинтересовываются хорошенькой рожицей Зиночки, по-дѣтски наивно-печально выглядывающей изъ-подъ полей шляпы. Третій—худой и тщедушный, съ типичными признаками дегенератизма въ лицѣ—коситъ глаза на Ину и вдругъ, значительно закрутивъ усы, рѣшительно отстаетъ отъ своихъ товарищей. Машинально безцѣльнымъ взглядомъ

Ина провожаетъ его. Вотъ онъ проходитъ къ черному австріаку и, оживленно жестикулируя, говоритъ съ нимъ, поминутно бросая взгляды на скамейку, занятую Иной и ея спутниками.

— Душечка, вы побѣждаете сердца... поздравляю! Этотъ офицеръ — фонъ-Кемницъ. Его всѣ знаютъ. Онъ изъ Эгера... полковой адъютантъ. Шикарный!—шепчетъ Лерской на-ухо Клокъ.

— Ахъ, Зиночка, и не скучно вамъ? Одно и то же, одно и то же!..

Инѣ сейчасъ томительно душно. Хочется допить воду и уйти скорѣе отъ всей этой пошло настроенной толпы. Она не привыкла стѣснять свои порывы, быстро встаетъ, прощается съ Горниловымъ и Зиночкой Клокъ и идетъ быстрой, стремительной походкой по Изабелла-променаду домой. Ее замѣтили; на нее смотрятъ, особенно австрійскіе военные. Тѣ чувствуютъ себя если не хозяевами мѣстечка, то самымъ желаннымъ общественнымъ элементомъ для всѣхъ пріѣзжающихъ иностранокъ, а эта блѣдная, тонкая, съ мальчишески задорнымъ лицомъ, одинокая русская не хочетъ обращать никакого вниманія на нихъ, такъ избалованныхъ женщинами.

Свернувъ въ сторону съ аллеи Изабеллы, Ина почти бѣжитъ, потомъ сворачиваетъ направо. Уже восьмой часъ, а надо еще зайти поужинать въ гостиницу „Почта“, находящуюся въ центрѣ крошечнаго городка. На углу она останавливается купить бѣлыхъ нарциссовъ.

Торговка улыбается таинственно и лукаво.

— Цѣлую ручку, сударыня,—говоритъ она, ловко

отсчитывая алюминіевые геллеры, опущенные на ея ладонь Иной.—А не боитесь сегодняшней ночи?.. О, сегодняшняя ночь!..

— Что такое будетъ сегодняшнею ночью?

— О... о... сегодняшняя ночь,—пѣвуче шепчетъ торговка,—очень важная, очень значительная ночь!..

— Да что такое?

— Не приказано говорить иностранцамъ... Но вамъ бояться не надо, васъ не тронутъ. А сказать я больше ничего не могу.

Ина досадливо пожимаетъ плечами. Удивительная таинственность! Чепуха!

Она отходитъ отъ цвѣточницы и натыкается на офицера въ голубомъ мундирѣ — того самаго, который усиленно фиксировалъ ее на променадѣ.

Замѣтивъ его намѣреніе подойти къ ней, Ина прибавляетъ шагу. Голубой мундиръ въ свою очередь не отстаетъ. Лерская почти бѣжитъ отъ него, раздраженная этимъ настойчивымъ преслѣдованіемъ. Но до отеля остаются еще добрые сто шаговъ, а офицеръ уже настигаетъ.

— Ist es erlaubt, meine Dame?—говоритъ онъ съ изысканной вѣжливостью и тутъ же называетъ себя:—Lieutenant Kemnitz aus Eger.

Ина быстро оборачивается, раздраженная, поблѣднѣвшая, злая.

— Послушайте, это же несносно, наконецъ, приставать на улицѣ къ порядочной женщинѣ!—почти кричитъ она по-нѣмецки, и въ ея голосѣ звенятъ слезы обиды.

— О, фрейлейнъ... простите!.. Я не хотѣлъ обидѣть васъ...—офицеръ смотритъ на взволнованное лицо Лерской и уже съ улыбкой добавляетъ:—вы самая строгая изъ иностранныхъ гостей и недосягаема, какъ богиня, даже для самаго невиннаго знакомства. А все недосягаемое влечетъ къ себѣ, и я, Кемницъ, терпѣливъ, какъ муравей.

— Оставьте меня въ покоѣ!—рѣзко бросаетъ Лерская и уже мчится въ гостиницу.

X.

Западная ночь не надвигается медленнымъ шагомъ—она падаетъ на землю, какъ большой черный плащъ, быстро, мягко и легко. Зги не видно на двухъ-трехъ шагахъ разстоянія, и если бы не яркіе электрическіе фонари, горящіе всю ночь до разсвѣта, мѣстечко представляло бы собою одну сплошную черную мглу.

Въ „Квисисанѣ“ жизнь затихаетъ рано. Въ девять часовъ всѣ пансіонеры фрейлейнъ Хельдеръ давно спятъ. Въ партерѣ, какъ называется здѣсь нижній этажъ дома, въ большой, хорошо обставленной комнатѣ съ лѣпнымъ потолкомъ, на широкой постели съ неизбѣжной периной, играющей роль одѣяла, лежитъ Ина, маясь безъ сна.

На душѣ разростается непреодолимая тоска въ этотъ тихій часъ лѣтняго вечера. Мучительно сверлитъ голову одна и та же мысль: „Ната, милая, родная, что съ нею?“... А Евгеній? Въ своихъ послѣднихъ письмахъ онъ изливаетъ такую тоску по ней, тоску и надежду на болѣе

свѣтлое будущее. Вѣдь по возвращеніи домой она обвѣнчается съ нимъ. И это будетъ ему безцѣнной наградой за долгую муку ожиданія...

Выйти замужъ?.. Теперь, когда все ея существо всецѣло захвачено тѣмъ вторымъ и любимымъ, одна мысль о которомъ бросаетъ всю ее въ пылающій жаръ? Если бы не Ната, Ина безъ размышленія умерла бы по первому его требованію, умерла, не оглядываясь назадъ и благословляя его своей любовью, но Ната... Ната...

Внезапный рѣзкій ударъ гдѣ-то поблизости прервалъ мысль Лерской. Она подскакиваетъ на постели, машинально протягиваетъ впередъ руки и устремляетъ взоръ въ темноту.

За первымъ ударомъ слѣдуетъ второй, третій... И вотъ вдругъ отчаянный, ликующій, грозный крикъ пролетаетъ по всему городку и утопаетъ въ горахъ далекимъ эхо. Свистъ, неистовый хохотъ, крики, цѣлая какофонія звуковъ сливаются въ одинъ оглушительный хаосъ и повисаютъ надъ домами до сихъ поръ тихаго курорта.

Быстро вскочить съ постели, повернуть электрическую кнопку, нажать пуговку звонка и набросить на себя бѣлье и платье — это для Лерской дѣло двухъ-трехъ минутъ.

— Лизи, что такое?—бросается она къ вошедшей на ея звонокъ горничной.—Что случилось? Какіе крики!

У той блѣдное, встревоженное лицо, а глаза полны страха.

— О, сударыня, ужасно! Они пришли, стучатъ въ

ворота... близко... рядомъ... огромной толпой... Требуютъ удаленія докторовъ! Знаете ли вы причину скандала: доктора-евреи не хотятъ имѣть больше надъ собою теперешняго бургомистра и интригуютъ противъ него, желая поставить своего, выбраннаго ими. А народъ любитъ стараго... заступился и пришелъ требовать удаленія докторовъ.

— Какъ? ночью? Что вы?

— Что дѣлать! народъ глупъ. Стучатъ въ ворота на виллѣ доктора Шнейдера. Онъ — главный зачинщикъ: интриговалъ противъ бургомистра больше всѣхъ. Грозятъ перебить стекла, разгромить. Маленькая революція...

— Скорѣе дайте мнѣ пальто, Лизи! Я пойду.

— О, невозможно! У нихъ камни, можетъ-быть, оружіе... васъ ранятъ. Невозможно... невоз... Ахъ, что это?

Гулъ, свистъ, крики усиливаются съ каждой минутой. Теперь это — уже одинъ сплошной ревъ. Грозятъ настойчивѣе, упорнѣе... Нѣсколько камней рикошетомъ ударились о закрытыя ставни оконъ „Квисисаны“.

— Настоящая маленькая революція. Буря въ стаканѣ воды. Я иду, Лизи, иду!—и, отстранивъ растерянную дѣвушку, Ина стремительно бросается вонъ изъ комнаты, съ трудомъ отодвигаетъ засовъ входной двери и вылетаетъ на улицу.

Этой послѣдней сейчасъ не узнать. Непривычное движеніе, снующіе тутъ и тамъ съ пронзительнымъ свистомъ мальчишки...

Толпа по своему количеству огромна. Здѣсь и масте-

ровые—сапожники, портные—и фабричные рабочіе, и оффиціанты изъ отелей и съ вокзала. Красныя, злыя, возбужденныя физіономіи, не предвѣщающія ничего добраго. Брани не слышно, не видно ни одного пьянаго лица, но что-то жуткое въ этой трезвой толпѣ, грозно выкрикивающей одну и ту же фразу между свистками и хохотомъ.

— Hoch! да здравствуетъ бургомистръ. Hoch! Стыдъ и позоръ его врагамъ! Къ отвѣту докторовъ!

И опять свистки, и опять насмѣшливыя, утонувшія среди смѣха фразы.

— Что попрятались, трусы? Выходите! Съ вами хотятъ говорить честные люди! Выходите добромъ, не то камнями разобьемъ стекла и насильно выведемъ васъ сюда!

Накинувъ на голову темный шарфъ, Ина съ трудомъ пробирается къ самой виллѣ доктора Шнейдера. Густое мѣсиво толпы обступаетъ ее и, сама того не замѣтя, Лерская попадаетъ въ самый ея центръ. Огромный мастеровой съ рыжею бородою, размахивая колоссальными ручищами, кричитъ хриплымъ, осипшимъ голосомъ:

— Да здравствуетъ бургомистръ, Hoch! Намъ ничего не страшно... Пусть не грозятъ вызовомъ солдатъ... Позоръ всѣмъ, кто заступится за евреевъ!

— Ломайте ворота, товарищи, тащи сюда зачинщика!.. пусть отвѣчаетъ намъ одинъ за всѣхъ!—надрываются другіе.

„Завтра же пошлю сообщеніе въ „Свѣтлый Вѣстникъ“.

„Буря въ стаканѣ воды“... маленькій фельетонъ“,— рѣшаетъ мгновенно Ина, сжатая со всѣхъ сторонъ живой стѣною.

Дзинь, дзинь, дзинь!—звенитъ жалобнымъ, точно плачущимъ звукомъ, и разбитое стекло веранды разлетается подъ ударомъ камня, пущеннаго ловкой рукой.

Не выдерживаютъ ворота напирающей толпы и проглатываютъ ее, широко распахнувшись.

Съ утроеннымъ крикомъ, свистомъ толпа вваливается на дворъ, громко ликуя. Увлеченная потокомъ, Ина попадаетъ туда же, въ узкое пространство маленькаго двора. Толпа сжимается, становится еще плотнѣе. Лерская вдругъ чувствуетъ весь ужасъ своего положенія. Ее сдавили со всѣхъ сторонъ, напираютъ сзади изо всѣхъ силъ въ спину, осаживаютъ спереди, больно стиснули плечи и грудь. Холодный потъ выступаетъ на лбу. Но все-таки она кричитъ, собравъ свои послѣднія силы, высокимъ голосомъ:

— Товарищи, не надо!.. Оставьте евреевъ, не трогайте!.. Не надо погрома... Къ бургомистру скорѣе, идемъ къ бургомистру! И манифестацію предъ ратушей... Да здравствуетъ бургомистръ!

Что было потомъ, Ина едва отдаетъ себѣ отчетъ; помнитъ она только одно—толпа всколыхнулась и вопитъ:

— Чертъ съ ними, съ докторами! Плюньте на евреевъ! Отвѣчать за нихъ придется! Къ бургомистру всѣ! Товарищи! Женщина права!

— Слушать женщину? Она подослана ими! Они—лисицы-хитрецы... Бить камнями стекла! Окна долой! Двери долой! Въ комнаты, на приступъ, товарищи! Мы

имъ покажемъ! Шнейдеръ—трусъ! Чего прячетесь? Къ отвѣту! Сюда!—кричатъ другіе.

— Гдѣ женщина, что заступалась за докторовъ? Подавайте ее сюда!—угрожающе вылетаетъ изъ толпы.

— Да здравствуетъ бургомистръ! Къ нему, товарищи, скорѣе! Hoch! Hoch! Hoch! заглушаетъ послѣдніе крики новый возгласъ.

Но вотъ что-то невообразимое происходитъ въ тотъ же мигъ. Толпа заколебалась, сшиблась въ одну непроницаемую группу и грузно шарахается назадъ.

Ина чуть живая, сдавленная со всѣхъ сторонъ этими колышащимися спинами и плечами, съ облитымъ холоднымъ потомъ лицомъ и вытаращенными глазами, совсѣмъ задохлась, готовая лишиться чувствъ. Сознаніе помутилось. Почва ускользала изъ-подъ ногъ. Силы уходили.

Вдругъ, идя прямо къ ней, расталкивая толпу толстой съ золотымъ набалдашникомъ палкой, замѣтно похрамывая, появился „недавній Ротшильдъ“, черный австріакъ.

— Дорогу, товарищи, дорогу!—звучитъ его нѣсколько хрипловатый голосъ.—Или вы не узнаете меня?

— Господинъ баронъ! Доброй ночи! Какъ не узнать? Единственный человѣкъ, не гнушавшійся помогать въ трудную минутку!—пробасилъ рыжій верзила.—Дорогу, товарищи, господину барону дорогу!—продолжаетъ звучать тѣми же добродушными нотками еще за минуту—до этого грозный и жуткій голосъ.

— Такъ пропустите меня къ дамѣ! Ей дурно!

Нѣсколько рукъ протянулись по направленію Ины. Толпа раздалась еще и очистила небольшое мѣстечко,

и безчувственную Лерскую принялъ на руки черный австріакъ.

* * *

Когда Ина очнулась, то была несказанно удивлена, увидѣвъ себя лежащей на скамьѣ у входа въ паркъ, а надъ нею склонившуюся фигуру съ лицомъ, чуть испорченнымъ оспой, и съ мрачными, жуткими глазами кретина. Откуда-то издали, со стороны городской ратуши, неслись восторженные крики, относившіеся повидимому къ вышедшему успокоить толпу бургомистру.

— Баронъ фонъ Герцъ,—назвалъ себя австріецъ, приподнимая фуражку.—Пожалуйста не волнуйтесь, все страшное миновало, прошло. Рѣка вошла въ русло, а эта моя крошечная услуга не должна имѣть никакихъ послѣдствій. Я вижу, вы смущены моимъ вмѣшательствомъ. Однако прошу не обращать на меня вниманія. То, что я сдѣлалъ, сдѣлалъ бы каждый порядочный человѣкъ.

— Благодарю васъ!—смущаясь произнесла Лерская.— Вы меня вынесли изъ толпы! Она задавила бы меня.

— Не стоитъ благодарности! Очень радъ, что поспѣлъ во-время. И еще разъ повторяю: продолжайте не отвѣчать на мои поклоны и отворачиваться при встрѣчахъ со мною, разъ вамъ угодно это.

— Но развѣ я...—еще болѣе сконфузилась Ина.

— О, это все равно, повѣрьте.

Нѣмецкая рѣчь барона звучала аристократическими нотками, и чѣмъ-то болѣзненно-благороднымъ вѣяло отъ его фигуры, когда онъ говорилъ:

— Я смотрѣлъ на васъ, потому что вы отличаетесь отъ другихъ. Всегда одна, всегда корректная, безъ этихъ кричащихъ туалетовъ. Простите меня, вы некрасивы, но привлекаете вниманіе. А знаете почему?

— Не знаю,—тихо проронила Ина.

— На вашемъ лицѣ написано счастье любви, гордое и прекрасное, которое вы не стыдитесь показать міру. Но вы поражаете меня тѣмъ, чего нѣтъ у другихъ женщинъ. Я видѣлъ нѣсколько разъ ваше лицо, когда вы читали письма—съ родины очевидно, и завидовалъ вамъ... Ваше лицо говорило о восторженной любви.

— Да, я люблю!—созналалась Ина.

— Я это предвидѣлъ. Отъ васъ брызжетъ солнцемъ взаимной любви. Отъ души желаю вамъ счастья! Я тоже когда-то любилъ, былъ сказочно богатъ и вмѣстѣ со своимъ сердцемъ и рукою предложилъ своей избранницѣ себя всего. Но она меня оттолкнула. Люди злы и поспѣшили оклеветать меня предъ нею, и она предпочла другого. А я, какъ древній Геростратъ, отмѣтившій величайшимъ безумствомъ свое имя въ міровой исторіи, тоже захотѣлъ быть отмѣченнымъ если не міромъ, то одною ею, въ силу совершеннаго цѣлаго ряда безумствъ... Впрочемъ были и серьезныя цѣли. Вотъ этимъ же людямъ,—онъ указалъ палкою вдаль по тому направленію, откуда неслись привѣтственно-восторженные крики,—я тоже помогалъ... Но больше швырялъ свои средства безцѣльно, топилъ ихъ въ морѣ пьянства и кутежей. Теперь денегъ нѣтъ, я разоренъ и боленъ неизлѣчимо, но все-таки счастливъ: я выполнилъ свою цѣль—напомнилъ

ей о себѣ... замутилъ зеркальную гладь ея счастья... Да!

Глаза барона разгорѣлись ярче. При свѣтѣ электрическихъ фонарей, подъ кружевной листвой огромнаго каштана онъ казался значительнымъ, жуткимъ, почти страшнымъ.

„Сумасшедшій, маньякъ“,—мелькнуло въ головѣ Ины, и она, рѣшительно поднявшись со скамьи, произнесла:

— Благодарю васъ еще разъ!

Ей было жаль этого человѣка, великаго въ своемъ безуміи любви и отдавшаго такъ безцѣльно и ненужно всю свою жизнь.

— Вы разрѣшаете проводить васъ до дверей дома?— поклонился онъ ей.

Ина молча кивнула головой.

У воротъ „Квисисана“ баронъ поцѣловалъ ея руку. Его губы были непріятно-холодны и Инѣ показалось, что пальцевъ ея коснулись губы мертвеца.

XI.

Прошла недѣля. Приближался отъѣздъ, а силы Лерской падали съ каждымъ днемъ все чувствительнѣе и замѣтнѣй. Когда она опускалась теперь въ ванну, ей становилось жутко до удушья. Что-то тяжелое, какъ свинецъ, наполняло все тѣло, разливалось по жиламъ, и чудилось, что сейчасъ покинутъ ее послѣднія силы, она закроетъ глаза и уснетъ навѣки послѣднимъ, непробуднымъ сномъ. Ната, Россія, Даніилъ, Женя, все это казалось далекимъ, туманнымъ и потеряннымъ навсегда.

Навсегда?.. Сердце замирало отъ одной этой мысли. Разъ ее замертво вынули изъ грязевой ванны, перенесли на кушетку и долго оттирали эѳиромъ ея исхудалое, тонкое тѣло, отъ котораго, казалось, остались теперь только одни увеличившіеся до послѣдняго предѣла, горящіе яркимъ огнемъ глаза.

— Довольно ваннъ; вы стали воздушны, какъ облако,—резюмировалъ докторъ Шнейдеръ, нисколько не потерявшій своего довольнаго вида послѣ ночного происшествія, главной причиной котораго едва ли не являлся онъ самъ.—Отдохните здѣсь денька три-четыре, а потомъ прокатитесь въ Шандау. Это — маленькій поэтичный курортъ Саксонской Швейцаріи. Обязательно поѣзжайте черезъ Дрезденъ! Вы не видѣли Сикстинской Мадонны?

— Съ дѣтства горю желаніемъ увидѣть ее.

Глаза Ины разгорѣлись при одной мысли объ этомъ шедеврѣ искусства.

Да, да, на Эльбу черезъ Дрезденъ, въ маленькій Шандау, а тамъ обратно домой къ нимъ, къ нимъ!..

Въ аллеѣ Изабеллы стало еще оживленнѣе и пестрѣе. Съ каждымъ днемъ прибавлялось все больше и больше новыхъ лицъ. Недавній Ротшильдъ, теперь встрѣчаясь съ Иной, склонялъ предъ ней голову, какъ предъ царицей, и долго-долго не надѣвалъ фуражки, пока она не уходила далеко отъ него. Ее же несказанно пугали мрачные глаза кретина, и она спѣшила скрыться отъ нихъ поскорѣй.

Графъ Кемницъ козырялъ ей со значительнымъ видомъ при встрѣчахъ и усиленно фиксировалъ ее, вѣр-

ный себѣ. По утрамъ черезъ каждые два дня на третій Лизи приносила Лерской вмѣстѣ съ первымъ завтракомъ букетъ бѣлыхъ розъ съ карточкой, на которой подъ увѣнчаннымъ дворянской короной именемъ мелкимъ, женскимъ почеркомъ значилась неизмѣнно одна и та же фраза: „Привѣтъ гордой иностранкѣ отъ терпѣливаго муравья". Въ другое время эта пошлость не разсердила бы Ину, но сейчасъ она искренно злилась на прилипшаго, какъ муха, поклонника и аккуратно выбрасывала его цвѣты.

Какъ-то разъ забѣжавшая за нею, чтобы идти вмѣстѣ къ источнику, Зиночка пристала къ Инѣ:

— Душечка, милочка, сдѣлайте меня счастливой, представьте мнѣ того австріака, чернаго... только чтобы не увидѣлъ „мой"... Ради Бога!

— Да вѣдь онъ полоумный, Зиночка? Да и какъ же тотъ, Горниловъ?

— Вотъ онъ гдѣ сидитъ у меня, этотъ Горниловъ!— Зиночка раздраженно постукала себя ребромъ руки по шеѣ.—Чѣмъ я около него сдѣлалась? Вы не повѣрите: сидѣлкой, больничной сидѣлкой! Ужасъ! Только и дѣло, что растираю его противныя ноги всякой гадостью. И ради чего, спрашивается? У меня нѣтъ денегъ, а онъ богатъ, какъ Крезъ. Душечка, Ина Михайловна, познакомьте!.. ну, хоть съ Кемницемъ, что ли!.. Пусть они поухаживаютъ хорошенько, и то развлеченіе! А тутъ смотришь, и подношенія, и цвѣты, и бездѣлушки всякія будутъ. Горниловъ пусть о хлѣбѣ моемъ насущномъ попечется, а они въ качествѣ поклонниковъ обо всемъ

остальномъ. Все жъ-таки не умру со скуки, протяну какъ-никакъ до отъѣзда. А мой-то все равно теперь лежитъ, какъ колода. Разыгрался у него ревматизмъ, не услѣдить ему за мной.

Этотъ наивный цинизмъ и смѣшилъ, и раздражалъ Лерскую. Ужъ очень была примитивна Зиночка со своей неисчерпаемой жаждой животной жизни и пестрыхъ разнообразіемъ впечатлѣній. Было и забавно, и смѣшно слушать ее.

— Къ сожалѣнію, не могу быть вамъ полезной въ этомъ, такъ какъ не разговариваю ни съ тѣмъ, ни съ другимъ,—холодно возразила Лерская.

— Злая!.. Вы это нарочно... Я знаю, вамъ просто не хочется терять поклонниковъ, жаль разстаться съ букетами поручика. Слышали и мы кое-что о нихъ!—и Зиночка капризно вытянула губки и злыми, округлившимися глазами посмотрѣла на Ину.

Обвиненіе было такъ нелѣпо и глупо, что Инѣ и раздражаться не хотѣлось. Она только пожала плечами.

„Какъ все это глупо, всѣ эти Кемницы, Зиночки и бароны!“—пронеслось у нея въ мозгу.

И въ сладкомъ предчувствіи замирало ея сердце.

XII.

Въ курпаркѣ былъ назначенъ танцовальный вечеръ въ пользу недостаточныхъ больныхъ.

Воздвигли тріумфальныя арки у входа въ главную аллею. Протянули на проволокѣ цѣпь фонариковъ для иллюминаціи, навезли въ большихъ ящикахъ цѣлое море

пестрыхъ конфетти и большіе свитки змѣеобразныхъ серпантинъ. Въ кіоскахъ засѣли хорошенькія мѣстныя барыни и барышни, жены и дочери врачебнаго персонала, великодушно въ качествѣ продавщицъ предложившія свои услуги. Онѣ продавали бутерброды, фрукты, шампанское и пиво, безъ котораго не можетъ дня прожить ни одинъ нѣмецъ и австріакъ.

На эстрадѣ помѣстился усиленный ради торжественнаго случая оркестръ. Между безчисленными столами таверны сновали ловкія, проворныя оффиціантки-дѣвушки, въ черныхъ платьяхъ, бѣлыхъ передникахъ и ослѣпительно чистыхъ батистовыхъ чепчикахъ на причесанныхъ по послѣдней модѣ волосахъ. На отдѣльныхъ столикахъ были разложены мѣшки конфетти и кружки свитыхъ колечками серпантинъ.

Чтобы развлечься немного, въ десять часовъ вечера Ина прошла въ курпаркъ. „Баталія“ и танцы были уже тамъ въ полномъ разгарѣ. На гладко утрамбованной песчаной площадкѣ, въ замкнутомъ кругѣ зажженныхъ разноцвѣтныхъ фонариковъ, мелькали свѣтлыя платья дамъ и барышень, перемѣшанныя съ яркими мундирами военныхъ и черными фраками статскихъ танцоровъ. Австрійскій оркестръ нажаривалъ съ добросовѣстною неутомимостью безчисленное количество полекъ и вальсовъ; пары кружились едва ли съ меньшимъ рвеніемъ, но отъ всего этого вѣяло непроходимой австрійской скукой.

Было что-то мертвяще-сонное въ этомъ весельѣ собравшихся со всѣхъ сторонъ земного шара людей,

чужихъ и безразличныхъ другъ другу. Искренно веселились одни подростки и молоденькіе офицерики изъ Эгера, безпрерывно осыпая бумажнымъ дождемъ своихъ дамъ, мѣстныхъ и пріѣзжихъ на время сезона обывамельницъ. Среди этихъ послѣднихъ шла непрерывная битва. Слышался искренній смѣхъ, горѣли неподдѣльнымъ удовольствіемъ молодые глаза, сверкали улыбками зубы.

Гонимая скукой, Ина пошла туда.

— Ага! Вотъ и вы наконецъ... злая!—Мимо нея пробѣжала нарядная и веселая Зиночка Клокъ подъруку съ женоподобнымъ мальчикомъ въ австрійскомъ стрѣлковомъ мундирѣ.—Вотъ вамъ за все!—и, прежде чѣмъ Ина успѣла опомниться, цѣлый градъ пестраго конфетти осыпалъ ея лицо, волосы и платье.

— Лерская... Писательница Лерская,—послышался за ея плечами сдержанный русскій говоръ, и, живо обернувшись, она увидѣла обращенные на нее любопытные взгляды нѣсколькихъ ея соотчественниковъ, уже много разъ попадавшихся ей на глаза у источника и въ курзалѣ.

— Гордость и пренебреженіе къ ближнему должно быть строго наказуемо,—произнесъ чей-то молодой голосъ по-русски, и, сопровождаемый смѣхомъ, въ Ину полетѣлъ новый запасъ конфетти, а за нимъ еще и еще...

Пестрый бумажный дождь сыпали теперь безъ устали. Легкія, воздушныя змѣйки серпантинъ взвивались высоко и тонкими лентами окутывали фигуру. Спасаясь отъ нападенія, Ина со смѣхомъ побѣжала

въ боковую аллею. Но молодежь русской колоніи послѣдовала за нею и туда.

— Господа, сдаюсь и прошу пощады!—закричала она, останавливаясь и оборачивая къ преслѣдователямъ раскраснѣвшееся лицо.

— Мы срываемъ ваше инкогнито... Вы—Лерская. Ваши искреннія почитательницы. Благодаримъ счастливый случай!—зазвенѣли вокругъ тѣ же молодые голоса.

— Не всѣ, не всѣ,—прерывали ихъ другіе,—здѣсь есть и оппоненты, люди здравой логики и консервативныхъ взглядовъ...

— Что это? дерзость? Ина Михайловна, мы защищаемъ васъ!

Двѣ барышни-курсистки изъ Петербурга, одна консерватористка и одна молоденькая, только что окончившая институтъ, дѣвочка, художникъ изъ Москвы, горный инженеръ и студентъ-путеецъ,—все это окружило Ину, засыпало восторженными восклицаніями, потащило въ кругъ танцовать. Подъ звуки задорнаго матчиша здѣсь плясали какой-то особый австрійскій танецъ—нѣчто среднее между вальсомъ и полькой, чему быстро тутъ же на мѣстѣ выучили и Ину.

— Безбожно было бѣгать отъ соотечественниковъ. Наконецъ-то мы поймали васъ!—кружась съ нею по кругу, болталъ пригласившій ее студентъ.

Потомъ Ина кружилась съ горнякомъ въ изысканномъ статскомъ платьѣ, потомъ съ барышней-консерватористкой и хорошенькой институткой, не сводившей съ нея влюбленныхъ глазъ.

Протискиваясь сквозь ряды танцующихъ, къ ней пробирался Кемницъ. Что-то рѣшительное было въ лицѣ офицера, когда онъ, дождавшись освободившейся отъ послѣдняго кавалера Ины, рѣшительно подошелъ къ ней.

— Мадамъ...—Отъ него пахло виномъ, и онъ чуть пошатывался, не твердо стоя на ногахъ, затянутыхъ въ щегольскіе ботфорты.—Мадамъ...

— Мерси, я устала,—произнесла по-нѣмецки Ина и, чуть кивнувъ головою, выскользнула изъ круга.

И опять градъ конфетти посыпался на нее, а нѣжныя ленты серпантинъ обволокли фигуру.

Отъ шума, музыки и танцевъ слегка кружилась голова. Незамѣтно смѣшавшись съ толпою, Ина ускользнула отъ зоркихъ глазъ своихъ новыхъ знакомыхъ и снова свернула въ темную аллею. Здѣсь было тихо, пустынно и хорошо. Заглушенные разстояніемъ, доносились сюда звуки оркестра, сквозь листья деревьевъ большими свѣтляками казались развѣшенные на проволокѣ фонари. Мимо таверны, по главной улицѣ, гдѣ жизнь сосредоточилась только въ отеляхъ и кофейняхъ, бойко торговавшихъ въ этотъ вечерній часъ, мимо мирно уписывавшихъ свой вечерній „кафе“, солидныхъ обывателей, разсѣвшихся на улицѣ, противъ кафе, за маленькими столиками подъ вѣтвями каштановъ и тополей, Лерская прошла въ нижній паркъ. Ее потянуло къ одиночеству и тишинѣ, къ абсолютному молчанію наединѣ съ собою. Сюда музыка долетала чуть слышно. Здѣсь пахло бѣлыми нарциссами и левкоемъ съ клумбъ, и

прямая, какъ стрѣла, убѣгала въ глубину парка лишь кое-гдѣ освѣщенная электричествомъ аллея Изабеллы.

Скользнувъ мимо ротонды соляного источника, казавшейся бѣлымъ призракомъ ночью среди великановъ-деревьевъ, Лерская быстрѣе зашагала въ глубь парка, свернувъ на узенькую дорожку змѣившуюся между кустами. Ночь дышала ей въ лицо своей свѣжестью съ примѣсью чуть внятнаго запаха желѣзистой почвы. Деревья безмолвно, какъ вылитыя статуи, стояли кругомъ безъ малѣйшаго трепета. Чуть трепыхались въ кустахъ сонныя птицы и молчалъ темный паркъ, огромный и таинственный, сладко завороженный въ эту волшебную ночь.

„Въ такія ночи бывало, мы исхаживали весь Сестрорѣцкъ съ Данькой“,—пронизала голову Ины быстрая, какъ молнія, мысль и ее опять нестерпимо потянуло къ родному, близкому существу, потянуло неудержимо.—Пойти домой и въ письмѣ ему излить душу?—мелькнула новая мысль въ головѣ Ины и она рѣшительно повернула назадъ.

— Ага, такъ вотъ вы гдѣ, надменная иностранка!—послышался позади нея громкій возгласъ, сдѣланный на нѣмецкомъ языкѣ.—Убѣжала отъ всего міра и скрывается въ лѣсу!

Ина вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ, услышавъ такъ неожиданно раздавшійся за нею рѣзкій голосъ, знакомый выговоръ, чуть картавящій и неясный, и чуть ли не впервые чувство испуга и смятенія пронизали ей душу. Сжалось непріятнымъ предчувствіемъ сердце, и тревожная мысль молотомъ ударила въ голову.

Три темныя фигуры какъ изъ-подъ земли выросли предъ нею. Одну, тонкую и невзрачную въ эффектномъ мундирѣ, она узнала сразу. Это—Кемницъ. Офицеръ былъ пьянъ и едва держался на ногахъ. По обѣ стороны его шли двое статскихъ. Эти были какъ будто трезвы, но отъ того не легче стало на сердцѣ Ины. Что-то жуткое и недоброжелательное примѣтила она въ выраженіи лицъ троихъ мужчинъ, въ полныхъ многозначительности улыбкахъ, осклабившихъ зубы. Острый запахъ вина тянулся отъ нихъ специфической струею.

Безсмысленно и тупо улыбаясь, Кемницъ выступилъ впередъ.

— Мадамъ, вы напрасно пренебрегаете мною,— произнесъ онъ по-нѣмецки.—Я къ вамъ расположенъ самымъ искреннимъ образомъ, и вотъ они,—онъ указалъ въ сторону своихъ спутниковъ,—они это знаютъ. Я не привыкъ, сударыня, бѣгать за женщинами, я избалованъ прекраснымъ поломъ и ненавижу препятствія. Хотя я и терпѣливъ, какъ муравей, но мое терпѣніе въ данномъ случаѣ истощилось и... и... и... Послушайте, Кемницъ не умѣетъ шутить и беретъ силой тотъ поцѣлуйчикъ, который не достается ему по доброй волѣ.

Съ трудомъ заплетающимся языкомъ докончивъ свою фразу, онъ шагнулъ по направленію къ Лерской.

— Стыдитесь, вы пьяны!—съ дрожью отвращенія отшатнулась отъ него Ина.

— Что же такого, что пьянъ? Нѣтъ, я не пьянъ,

но чуть-чуть для смѣлости проглотилъ каплю... Почему нѣтъ? Дюжина бокаловъ шампанскаго и нѣсколько кружекъ добраго пива никогда не помѣшаютъ дѣлу. Однако это не послужитъ мнѣ помѣхой поцѣловать васъ, моя куколка, съ неистощимой силой трезваго человѣка. Да-съ!

Двое статскихъ заржали, какъ лошади, заливаясь противнымъ смѣхомъ.

Кемницъ быстрымъ движеніемъ протянулъ руку и опустилъ ее на талію Ины. Жуткій огонекъ грязной похоти зажегся въ его глазахъ.

— Еще одно движеніе, поручикъ, и я крикну, позову на помощь,—угрожающе произнесла Лерская.

— Ого, какая прыткость! Не думаете ли вы, кошечка, что кто-нибудь прибѣжитъ спасать васъ?

— Вы—негодяй!

— Я не былъ бы таковымъ, если бы вы обращались со мною поласковѣе! А теперь...—и Кемницъ съ несвойственной для его жидкой фигуры силой охватилъ обѣими руками Ину и привлекъ ее къ себѣ.

Двое статскихъ близко придвинулись къ нимъ, отвратительно хихикая. Въ лицо Инѣ пахнуло виннымъ перегаромъ и запахомъ сигаръ.

— Помогите!..—крикнула въ отчаяніи Лерская.

Сильно и крѣпко примкнули къ ея губамъ отвратительныя, мягкія, мокрыя губы.

Темная чаща, казалось, надвинулась еще плотнѣе... Гдѣ-то призрачно мелькнули фонари, и мозгъ Ины замутился, охваченный ужасомъ. Когда ея руки въ послѣднемъ

усиліи борьбы оттолкнули Кемница, близко, близко, почти рядомъ съ нимъ прогремѣлъ выстрѣлъ за кустами.

— Прошу прощенья, я долженъ былъ разрядить револьверъ... Я, кажется, испугалъ васъ?—прозвучалъ по сосѣдству глуховатый голосъ.

Что-то нелѣпое и смѣшное произошло вслѣдъ за этимъ. Оба статскихъ, какъ два пугливыхъ зайца, метнулись въ сторону, почти насильно увлекая за собою Кемница, и исчезли въ одно мгновеніе ока въ ближайшихъ кустахъ. Отъ деревянной скамейки-диванчика отдѣлилась темная фигура. Лерская вздохнула облегченнымъ вздохомъ—предъ нею стоялъ баронъ Герцъ съ его мрачнымъ, пустымъ взглядомъ кретина.

* * *

— Вы выручаете меня вторично, баронъ, и на этотъ разъ изъ болѣе нежели непріятнаго положенія. Чѣмъ мнѣ отблагодарить васъ?—произнесла взволнованно Ина, пожимая руку барона.

Слезы обиды обожгли ея глаза, задрожали губы. Ей захотѣлось броситься на грудь этого незнакомаго, чужого, такъ кстати появившагося здѣсь человѣка, и въ слезахъ вылить нанесенную ей только что боль оскорбленія. Чуть живая, разбитая переживаемымъ волненіемъ, безмолвно опустилась она на скамью.

— Ужасно, безсмысленно, жестоко! — пропентала она.

— Онъ мертвецки пьянъ, этотъ мальчишка, и невмѣняемъ, произнесъ Герцъ.—И завтра же я потребую его

къ отвѣту. Желаете?—и его глаза кретина засверкали яркими искрами въ полутьмѣ.

— О, ничего, ничего мнѣ не надо, никакого отвѣта—пусть только оставятъ меня всѣ, всѣ, всѣ!—безъ слезъ прорыдала Ина.

— Знаете ли, чего въ сущности достоинъ Кемницъ?—давъ ей немного успокоиться, своимъ хриплымъ голосомъ снова заговорилъ баронъ.—Смерти. За такой поступокъ кого-нибудь другого пощадить нельзя... Но я знаю этого несчастнаго мальчика. Онъ былъ въ первыхъ классахъ училища, когда я вышелъ уже въ офицеры, и вся его жизнь прошла у меня на глазахъ. Это—слабый, безвольный юноша, рабъ своихъ страстей. Пьетъ напропалую и смотритъ на женщинъ, какъ на свою личную собственность. Послѣднія его избаловали; благодаря его знатности, деньгамъ и положенію, онѣ льнутъ къ нему, какъ мухи. И вотъ глупый мальчишка не разсчиталъ своихъ силъ... ошибся... Совершилъ непростительную гнусность. Скажите только слово—и онъ жестоко поплатится за нанесенную вамъ обиду. Нѣтъ ничего легче испортить ему все, заявить шефу полка о его поступкѣ. Это разъ навсегда лишитъ его возможности служить въ его блестящей части, погубитъ его карьеру. Но... но... мнѣ кажется, вы не сдѣлаете этого. Столько доброты въ вашемъ лицѣ... ваши глаза... Нѣтъ, вы послушаетесь старика Герца и простите того мальчишку!

— Да, вы правы, баронъ, я не погублю его; больше того—я прощаю его, ради васъ... Вы величественны

въ своихъ ходатайствахъ за этого негодяя,—взволнованно сорвалось съ губъ потрясенной Ины,— вы меня выручили, и за это я благодарю васъ...

— О, русскія женщины! Онѣ великодушны!—подхватилъ баронъ.—Я читалъ о нихъ въ переводѣ у вашего Тургенева, у Достоевскаго и безмѣрно счастливъ, что мнѣ пришлось оказать услугу одной изъ нихъ.

— Болѣе чѣмъ услугу, баронъ! Но зачѣмъ вы пришли сюда съ оружіемъ въ эту пору?—неожиданно вспомнивъ о выстрѣлѣ, произнесла Ина.

— Вы вѣрите людямъ?—вопросомъ на вопросъ отвѣтилъ Герцъ.

— Вамъ повѣрю. Вы внушаете большое довѣріе къ себѣ,—отвѣтила она безъ запинки.

— Я пришелъ сюда, чтобы умереть.

— Вы? Сюда? Умереть? Сейчасъ?

Часъ отъ часу не легче... На каждомъ шагу здѣсь ее, Ину, поджидалъ какой-нибудь роковой сюрпризъ!

Глаза Лерской расширились, въ зрачкахъ разлился ужасъ.

— Умереть? Застрѣлиться? Зачѣмъ?

— Днемъ раньше, днемъ позже, не все ли равно?—произнесъ баронъ, пожимая плечами,—я вамъ не стыжусь сознаться въ этомъ. Двѣ ночи „случаевъ“ связали насъ больше десятковъ лѣтъ знакомства. Итакъ, съ каждымъ днемъ мои силы падаютъ, исчезаютъ, исчезаютъ и послѣднія деньги. Нѣтъ ничего безобразнѣе бѣдности: она уничтожаетъ, дѣлаетъ человѣка жалкимъ, и нѣтъ ничего позорнѣе безсилія бѣдняка. Моя жизнь

стала несносна. Ни друзей искреннихъ, ни привязанностей нѣтъ. Мое прошлое колетъ глаза окружающимъ. Я одинокъ, никому не нуженъ. Да и болѣзнь моя прогрессируетъ съ каждымъ днемъ. И вотъ я рѣшилъ устранить себя отъ жизни, такъ какъ ненавижу мозолить глаза людямъ, какъ объектъ ихъ жалостливаго сочувствія. Слѣпой случай произвелъ задержку и въ этомъ я вижу перстъ судьбы. Но все это вздоръ и не обо мнѣ идетъ рѣчь. Мнѣ жаль Кемница. Да, да. Вѣдь, лишь только протрезвѣетъ этотъ мальчикъ, онъ пойметъ весь ужасъ своего намѣренія и будетъ самымъ несчастнымъ существомъ, съ позорнымъ пятномъ на совѣсти. Это я напередъ знаю. Жаль губить его! Для такихъ, какъ онъ, сіяетъ солнце, цвѣтутъ розы, для сѣрыхъ и пошленькихъ нравственныхъ бѣдняковъ! Мнѣ моя жизнь представляется однимъ сплошнымъ рискомъ... Быть или не быть...

— Тѣмъ болѣе и надо довести этотъ рискъ до его нормальнаго конца!—горячо вырвалось у Ины.— Посмотрите, баронъ, развѣ жизнь не прекрасна? Развѣ сознаніе оказанной вами, хотя бы сегодня, огромной услуги не принесло вамъ нѣкотораго удовлетворенія? Я не знаю, какъ вы, но мнѣ кажется, что каждый человѣкъ необходимъ по крайней мѣрѣ десяти себѣ подобнымъ, на худой конецъ, и въ этомъ уже сказывается цѣль его существованія и ея внутренній смыслъ.

— Моя пѣсенка спѣта: повторяю, я никому не нуженъ, абсолютно никому.

— Этого не можетъ быть! Слишкомъ мудро распо-

ряжается судьбою людей Высшій Разумъ!—запротестовала Ина.

— Вы говорите такъ, потому что носите счастье въ груди.

— О, нѣтъ. Послушайте, и я по временамъ страдаю такъ больно, такъ нестерпимо! Откровенность за откровенность, хотите, я разскажу вамъ все?—И Ина страстнымъ, трепещущимъ голосомъ, не ожидая согласія, передала барону вкратцѣ всю свою сложную жизнь.—Во сто разъ легче,—заключила она,—было бы мнѣ чувствовать себя совсѣмъ-совсѣмъ одинокой, покинутой, нежеланной, нежели послѣ всѣхъ пережитыхъ разочарованій дѣтства и юности дѣлить свое сердце и душу между двумя лучшими людьми. А все-таки я живу и счастлива, несмотря на острую боль отчаянія, безполезныхъ угрызеній совѣсти, ненужнаго стыда. Вѣдь я, какъ древній грекъ, вѣрю въ предопредѣленіе Силы, движущей мірами. Мои боги свѣтлы, и не должно быть мрака, боли и гнета тамъ, гдѣ звучатъ ихъ голоса.

— Я—тоже фаталистъ,—вѣско произнесъ баронъ,—и вѣрю въ случай, которому даю имя Великаго Разума. Выстрѣлъ револьвера былъ предназначенъ для моего черепа, но ему было дано рокомъ другое назначеніе... Вы—правы... Вы такая слабенькая, хрупкая и нѣжная по виду—навели меня на эту мысль. Дайте мнѣ поцѣловать вашу руку и поблагодарить васъ.

Аллея Изабеллы попрежнему убѣгала во мракъ, таинственная, черная, оттѣненная по обѣ стороны молчаливою стражей деревьевъ. Когда Ина съ барономъ

проходили по городу, улицы его уже спали непробуднымъ сномъ.

Давно затихла музыка, закончился праздникъ въ курпаркѣ Погасла иллюминація, наступила тишина.

Прощаясь у воротъ „Квисисана“, Ина уже безъ непріятнаго чувства ощущала на своемъ лицѣ тяжелый взглядъ своего спутника и дружески пожала ему руку.

— Я сохраню о васъ лучшее воспоминаніе, — сказалъ баронъ, прощаясь съ Лерской:—вы сыграли невольную роль въ моей судьбѣ и снова бросили меня навстрѣчу року. Образа далекой русской я никогда не забуду.

XIII.

„Дорогіе, привѣтъ. Выѣзжаю сегодня. Пишите Шандау. Сердцемъ около васъ. Ина“.

Русскія слова латинскими буквами не могли выразить вполнѣ все то, что переживала Ина. Не вылить словами маленькой телеграммы всѣхъ всколыхнувшихся въ душѣ своихъ чувствъ! Домой! Домой!

Незамѣтно прошелъ канунъ отъѣзда. И пѣла въ тотъ вечеръ расцвѣтшая душа Ины:

„Еще ночь, и я улечу на Эльбу... въ горы Саксоніи, черезъ старый Дрезденъ улечу, какъ птица, далеко-далеко! Поклонюсь Мадоннѣ, подышу горнымъ воздухомъ—и домой, къ голубушкѣ Россіи, къ Натѣ, къ дѣткѣ милой... къ Евгенію и къ нему... къ нему—Данькѣ“.

На этомъ замирала мысль. Хаосъ самыхъ разнород-

ныхъ переживаній вертѣлся въ ея душѣ съ головокружительной быстротой. Что будетъ, то будетъ! Высшій Разумъ—двигатель міра и судьбы—представлялся теперь Инѣ мудрымъ и милосерднымъ.

* * *

Съ утра грохоталъ громъ и желтыя змѣйки молній бороздили небо. Говорили, что гдѣ-то молнія ударила въ горахъ. Набожная католичка, фрейлейнъ Хельдеръ, призвала ксендза, и долго его бѣлая фигура, склоненная въ молитвѣ, рисовалась за стеклянной дверью хозяйской комнаты. Ина подъ оглушительные удары грома съ лихорадочной быстротою собирала свои пожитки. Поѣздъ отходилъ ровно въ часъ, надо было успѣть уложить вещи во что бы то ни стало. Въ двѣнадцать портье и чистильщикъ сапогъ — неутомимый, какъ пчела, человѣчекъ — перетаскали ея сундуки и картонки на двухколесную ручную телѣжку и отправились на вокзалъ. Лизи со слезами на глазахъ провожала щедрую русскую госпожу, восторженно поглядывая на цѣлое приданое тряпья, оставленнаго Иной въ ея пользу. Съ видомъ тоскующей обезьяны появилась фрейлейнъ Хельдеръ съ ворохомъ цвѣтовъ.

— Цвѣты—цвѣтку! Изъ собственнаго сада! — передавая цвѣты Инѣ, высокопарно пропѣла старая дѣва, повидимому очень довольная своимъ комплиментомъ.

— Сударыня, вамъ письмо и букетъ! — и въ дверь просунулась бѣлобрысая головенка мальчика-оффиціанта изъ курзала съ великолѣпнымъ букетомъ бѣлыхъ розъ и толстымъ конвертомъ англійской бумаги въ рукахъ.

*

Письмо было отъ Кемница. Четыре мелко исписанныя страницы, полныя самобичеванія, мольбы о прощеніи и восхваленія благороднаго великодушія русской. Онъ былъ невмѣняемъ тогда... Но нельзя оправдывать никакою невмѣняемостью ту гнусность, которую онъ совершилъ. О, онъ готовъ понести за одно только намѣреніе заслуженную кару, позоръ и безчестіе; онъ смоетъ этотъ недостойный поцѣлуй, какою она ни пожелаетъ, цѣною. Это послужитъ ему урокомъ на всю жизнь... И опять шли нанизанныя одна на другую нелѣпыя самообвиненія, изложенныя въ сантиментально-приподнятомъ духѣ.

Ина на мелкіе клочья изорвала письмо.

— Отвѣта не будетъ. И букетъ отнести обратно!— коротко приказала она, отпуская мальчика.

Покончивъ свои дѣла у кассы и въ таможенномъ залѣ съ багажемъ и выйдя на платформу, Лерская издали замѣтила Зиночку. Подлѣ хорошенькой Клокъ вертѣлся какой-то франтъ съ моноклемъ и огненно-рыжими бачками. Зиночка въ новой шляпѣ и свѣтломъ кокетливомъ костюмѣ, оживленная и нарядная, казалась очаровательной.

— Ина Михайловна!.. душечка!.. сто лѣтъ не видались...—съ искреннимъ порывомъ радости бросилась она къ Инѣ.—Но что это? Вы уѣзжаете, душечка?

— Да. Сейчасъ.

— Ахъ, Боже мой! Да какъ же это такъ сразу?— Личико Зиночки омрачилось и потускнѣло.—Мы съ вами и не видѣлись съ самаго вечера въ курпаркѣ. А у меня столько перемѣнъ, столько перемѣнъ!—и

тутъ же, присѣвъ на скамейку и сдѣлавъ неопредѣленный жестъ слѣдовавшему за нею кавалеру съ моноклемъ, она затараторила съ мѣста:—Душечка! Не удивляйтесь, это—новый... подходящій, нужный... Богатъ, какъ Крезъ, влюбленъ, какъ котъ. Предлагаетъ ѣхать въ Ниццу. Поднесъ брошь и цѣпочку. Взгляните! Прелесть!

— Зиночка! А какъ же тотъ, Горниловъ?—удивилась Ина.

— Чертъ съ нимъ, съ Горниловымъ! Ну его! Ему не женщина нужна, а примочка. Пусть беретъ сидѣлку, а я—слуга покорная—не хочу больше его кости растирать.

— Зиночка, но вѣдь вы были такъ близки... въ одной комнатѣ остановились, какъ мужъ и жена!—съ ужасомъ прошептала Ина, косясь на малосодержательную физіономію новаго Зинина атташе.

— Не безпокойтесь, онъ ни черта не понимаетъ по-русски,—замѣтила ея взглядъ Клокъ,—и тупъ, какъ колода. А это для нашей сестры—вѣрнѣйшій плюсъ.

— Зиночка, да какъ же вы могли увлечься такимъ?

Глаза Ины стали огромными отъ овладѣвшаго ею полнаго изумленія.

— Да кто же вамъ говорилъ, что это—увлеченье? Ничуть не бывало!—совсѣмъ уже развеселилась Зиночка.—Когда кушать захочешь, увлеченья спрячешь въ карманъ. Вамъ хорошо: васъ Богъ талантомъ не обидѣлъ, вы независимы, свободны. А у меня ничего нѣтъ, кромѣ мордашки, и бездарна я, какъ печь. Ну,

вотъ и демонстрируешь свою рожицу, благо на нее любители находятся вездѣ и всюду.

— Зина! Зина!

— Ахъ, бросьте, пожалуйста!—вдругъ разсердилась Клокъ.—Не виновата же я, что меня съ шестнадцати лѣтъ продали негодяю-мужу и что онъ чуть ли не колотилъ меня! И за грѣхъ не считаю, что сбѣжала, а ради хлѣба насущнаго мѣняю этихъ чертей—она презрительно кивнула на своего спутника,—какъ перчатки.

— Но вы могли бы служить... зарабатывать самостоятельно...

— На телеграфѣ, телефонѣ или у васъ въ редакціи, прикажете?—голосъ Зиночки зазвучалъ злобой.—Дудки-съ, ерундель съ масломъ! Тридцать, сорокъ рублей въ мѣсяцъ? Да у меня одна шляпа шестьдесятъ стоитъ.

Она не докончила своей исповѣди, подходилъ поѣздъ. Контролеръ протянулъ къ Инѣ руку за билетомъ, кондукторъ гнусаво выкрикивалъ что-то на перронѣ. Портье изъ „Квисисаны“ и слуга-чистильщикъ втащили багажъ въ вагонъ и, получивъ щедрые на-чаи, пожелали всѣхъ благъ великодушной русской.

Зиночка кричала что-то изъ-за желѣзной рѣшетки и кивала шляпой. Ея кавалеръ тоже приподнялъ котелокъ и стоялъ рыжій и глупый съ тщательнымъ проборомъ на головѣ и нелѣпо торчащимъ въ глазу моноклемъ.

Поѣздъ отошелъ.

* * *

Слабость, упадокъ нервовъ, легкое раздраженіе всѣ обычныя явленія послѣ только что совершеннаго лечебнаго курса,—все это исчезло куда-то сразу, какъ только Ина очутилась одна въ вагонѣ, въ маленькомъ, уютномъ пустомъ купе.

Франценсбадъ, ванны, послѣднія передряги—все осталось позади, гдѣ-то далеко, ненужнымъ, темнымъ воспоминаніемъ. Все соскользнуло съ души, не оставивъ пятенъ на ней. Ни одного упрека на совѣсти по отношенію къ Клочевскому, ихъ свѣтлымъ отношеніямъ, ихъ взаимной любви. Ни на секунду никто и ничто не затемнили образа любимаго человѣка въ сердцѣ Ины, и та же свѣтлая и чистая, вѣчно молодая любовь къ нему властно царила въ ея душѣ.

Къ тремъ часамъ дня гроза разыгралась снова, загремѣлъ громъ, запрыгали зигзагами молніи. Сгустилась напоенная электричествомъ атмосфера; въ вагонѣ стало трудно дышать. Спустивъ окно, Ина жадно вдыхала чуть замѣтный вѣтерокъ, впиваясь взоромъ въ черныя тучи, любуясь величественной картиной сухой грозы.

Красиво освѣщенныя частыми вспышками молній, синѣли горы на горизонтѣ. Остроконечныя головы потухшихъ вулкановъ тянулись вверхъ, разбѣгаясь широкой грядою. А громъ рокоталъ все настойчивѣе, все сильнѣе. Грознѣе нахмурилось небо и желтыя ленты молній ввидѣ огненныхъ серпантинъ, ежесекундно бороздили тучи.

Наконецъ хлынулъ дождь, цѣлое море ливня,

гигантскій каскадъ, обрушившійся съ неба, что-то стихійное и жуткое по своему величію. Громъ ослабѣлъ, притихъ сразу. Желтыя жаръ-птицы молній задержали свои полеты, зато потоки воды, явившіеся имъ на смѣну, казалось, грозили затопить весь міръ.

Поспѣшивъ поднять окно и вынувъ изъ дорожнаго саквояжа всѣ принадлежности для письма, Ина устроилась поудобнѣй и принялась за письмо къ Клочевскому.

„Ты, ты и ты... Вездѣ ты и всюду!—писала она нервно и быстро, мало обращая вниманія на отчаянную тряску вагона:—въ душѣ, въ мысляхъ и въ сердцѣ. Жизнь ты моя!.. Данька, свѣтикъ, солнышко родное!.. Лѣсной фавнъ свѣтлоокій... Любовь моя... Что было, что будетъ—не знаю, не хочу знать и думать. Живу настоящимъ, своей любовью къ тебѣ!“

Одна за другой нанизывались строки, пылкія, горячія, одна пламеннѣе и страстнѣе другой... Всплывалъ въ туманѣ образъ любимаго человѣка—эта фигура, лицо викинга, бѣлокурые роскошные волосы, зеленовато-голубые, дерзкіе, хищные, какъ у ястреба, глаза. И рука бѣгала безъ устали по страницамъ. Работало перо, работала мысль.

„Мы будемъ богами... Мы превзойдемъ своей любовью весь міръ. Мы поднимемся высоко, мы споемъ во весь голосъ нашъ гимнъ небу, Данька!“

Письмо дописано, надписанъ адресъ, приклеена саксонская марка, а онъ, этотъ милый сердцу Клочевскій, все стоялъ предъ Иной, точно наяву. Она закрывала

глаза, чтобы избавиться отъ видѣнія, но оно жгло своей близостью всю ея кровь, все тѣло, весь мозгъ. Ина сидѣла нѣсколько минутъ съ закрытыми глазами, ничего не видя и не слыша. Поѣздъ стучалъ, мысль мутилась.

„Старый Дрезденъ, Мадонна, любимая мечта давней юности... Красавица Эльба, горы Шандау и обратно къ нему, къ нему... „О!“

Это „о“ сорвалось невольно, легкимъ стономъ прямо изъ души. Ина вздрогнула отъ этого „о“, оброненнаго такъ внезапно, помимо воли. Она открыла глаза, и новый крикъ вырвался у нея изъ груди:

— Данька!

* * *

Дивный до ужаса восторгъ, неожиданный восторгъ внезапнаго счастья, какъ розовое облако, окуталъ ее.

Онъ здѣсь! Здѣсь! Сонъ это? Спитъ она? Или явь, дѣйствительность, яркая, лучезарная правда? Инѣ показалось въ первую минуту, что она задохнется отъ счастья, умретъ.

Онъ, ея Данька, здѣсь, предъ нею... сидитъ близко отъ нея на противоположномъ диванѣ въ купэ. Онъ! Его лицо, только чуть похудѣвшее, загорѣлое, усталое немного; его глаза, прикрытые почему-то золотымъ пенснэ, милые, острые, пронзительные глаза хищника! О, отъ нихъ никуда не уйти. Никуда не скрыться! Густые, волнующіеся волосы, яркія губы, чувственно пышныя, алыя, какъ кровь... Онъ!

Почему онъ въ статскомъ, Ина не сообразила сразу,

почему соломенная шляпа у него на голова, ей тоже не понятно сейчасъ. И пенснэ тоже, и пенснэ... Онъ, онъ и онъ! Чего же ей больше?

Она смотритъ упорно, безъ малѣйшей дозы смущенья въ это лицо викинга, въ эти глаза. Въ собственномъ лицѣ тотъ же восторгъ, та же неземная радость. Глаза раскрыты широко и изъ нихъ льется цѣлое море радостныхъ лучей.

— Данька! Данька! Данька!—шепчутъ почти вслухъ ея трепещущія губы.

— Простите ради Бога, я разбудилъ васъ, кажется?— на чистѣйшемъ французскомъ языкѣ произнесъ сидѣвшій противъ нея господинъ, приподнимая шляпу.

Ина машинально наклонила голову. Зачѣмъ французскій языкъ? Этотъ голосъ —его голосъ, мягкій, бархатный, нѣжный баритонъ... Безспорно его... Но когда этотъ человѣкъ поднялся, чтобы уложить свои вещи въ сѣткѣ, предназначенной для багажа, она замѣтила, что онъ худѣе и меньше ростомъ, ýже въ плечахъ Даніила. Все еще не спуская съ него глазъ, она машинально вертѣла письмо и произнесла первую попавшуюся ей на умъ французскую фразу:

— Пожалуйста... это письмо... Я не могу сама... Какой дождь!..

— Вамъ угодно опустить письмо? Сейчасъ будетъ станція, и если вы, мадемуазель, довѣритесь мнѣ, я могу это сдѣлать, — и онъ улыбнулся съ настоящей любезностью француза.

Его зубы—настоящая роскошь... Это — зубы „того“, Клочевскаго. Ина впилась въ нихъ взоромъ, потомъ опять

перешла на глаза. Его лицо чуть порозовѣло подъ ея взглядомъ, и это чрезвычайно шло ему.

— Пожалуйста, — сказала Лерская, не отрывая отъ него глазъ попрежнему, и продолжала чуть смущенно:—не прилично то, что я дѣлаю сейчасъ, но, но... вы не можете себѣ представить, какъ вы напоминаете мнѣ другого человѣка... близкаго, очень-очень близкаго! — поторопилась договорить она.—И наша встрѣча сейчасъ изумительно похожа на другую встрѣчу... съ нимъ... Снимите пенснэ!— вдругъ неожиданно властнымъ тономъ приказала она.

Это было странно и несообразно, но онъ улыбнувшись повиновался ей сразу. Безъ пенснэ — это былъ Клочевскій, его портретъ вылитый. И знакомые глаза ястреба снова прожгли Ину.

— Я невозможно близорукъ! — сказалъ ея собесѣдникъ, какъ бы извиняясь.—Такъ вы разрѣшаете мнѣ бросить въ ящикъ ваше письмо?

Ина молча передала ему конвертикъ. Поѣздъ остановился какъ разъ въ эту минуту. Спутникъ Ины не спѣша вышелъ изъ купэ, подъ проливнымъ дождемъ прошелъ платформу и снова черезъ двѣ минуты появился предъ Лерской въ купэ.

— Благодарю васъ,—сказала она чуть слышно, и горячія волны прилили къ ея сердцу.

— Вы разрѣшите назваться?

Онъ еще не сѣлъ, и его лицо на разстояніи аршина находилось отъ лица Ины, лицо—Клочевскаго.

У нея не хватило силъ отвѣтить. Чуть замѣтнымъ наклоненіемъ головы она изъявила согласіе.

— Карлъ-Генрихъ Шуръ, представитель саксонской компаніи по снабженію полотномъ всѣхъ странъ свѣта. Главный представитель фирмы и одинъ изъ ея директоровъ. Ѣду по дѣлу въ Вѣну, долженъ заѣхать по дорогѣ въ Кеммъ.

На лицѣ Ины отразилось вдругъ такое откровенное отчаяніе, что его нельзя было не замѣтить. „Не онъ! Не онъ!“ казалось, говорили въ немъ каждая жилка, каждая черточка. Да развѣ она могла ожидать иного? Вѣдь было бы чудомъ, если бы Клочевскій очутился здѣсь, а чудеса—сказка въ двадцатомъ вѣкѣ. И все-таки это—онъ!

Она смотрѣла въ его лицо впивающимся взглядомъ, дѣтски восторженными глазами.

— Послушайте! Еще разъ... умоляю, снимите пенснэ!—сказала она, смущаясь, какъ дѣвочка.

И опять ея спутникъ покорился со смѣхомъ.

Этотъ смѣхъ... Данькинъ смѣхъ, милый!

— Мадемуазель,—началъ Шуръ.

— Мадамъ Ина,—поправила она.

— Мадамъ? Ахъ, Боже мой, нѣтъ!.. Вы—барышня.

— Развѣ у меня видъ старой дѣвы?..

— Боже сохрани!.. Ина... Ина... — повторилъ Шуръ мечтательно, дѣлая невѣрное удареніе на „а“. — Какое имя! Вы полька?

— Русская.

— Невозможно! У русскихъ другіе носы. Я зналъ одну изъ нихъ. Тоже встрѣча въ вагонѣ. Маленькая педагогичка, учительница. И у нея былъ совсѣмъ другой типъ.

— Тогда татарка! Правда!—засмѣялась Ина, желая скрыть все еще не исчезнувшее волненіе.—Мои предки жили въ кибиткахъ... пили кумысъ, лошадиное молоко... и исповѣдывали религію Магомета... И я такая же: дома живу, какъ татарка, хожу въ полосатыхъ халатахъ и пью лошадиное молоко.

Ее охватила вдругъ безумная веселость. Видѣть его улыбку—улыбку ся Даньки—было для нея потребностью сердца и души. Она болтала теперь всякій вздоръ, пришедшій ей въ голову, не отводя въ то же время взора отъ лица Шура поминутно озарявшагося столь дорогой, знакомой для нея улыбкой.

Потомъ заговорилъ онъ. Онъ—нѣмецъ по рожденію, но провелъ всю свою юность въ Парижѣ. Франція — его второе отечество. Впрочемъ онъ исколесилъ полміра. Гдѣ онъ только не бывалъ? И въ Америкѣ, и на Мадагаскарѣ, и въ Алжирѣ, и на Малайкѣ, и въ странѣ Восходящаго Солнца, а въ Германіи, Англіи, Испаніи и Италіи — объ этомъ не стоитъ и говорить.

— Сколько очаровательныхъ женщинъ повидали вы на своемъ вѣку. Которая изъ нихъ произвела на васъ сильнѣйшее впечатлѣніе?—весело спросила Лерская:—темная малайка или великолѣпная дочь Альбіона?

— Та, съ которой я говорю, владѣетъ мною въ данный моментъ,—отшутился Шуръ съ находчивостью истиннаго француза.

Поѣздъ сталъ замедлять ходъ, подходили къ какой-то станціи. Толчекъ, и вагоны стали на мѣстѣ. Гнусаво

выкрикивалъ кондукторъ названіе остановки. Мальчишки-разносчики и оффиціанты изъ буфета сновали по платформѣ съ подносами, уставленными кружками пива и тарелками съ горячей порціонной колбасой.

— Слѣдующая остановка Кеммъ,—значительно сказалъ Шуръ,—я долженъ буду выдти.

— Ахъ!—сорвалось съ губъ Ины звукомъ такого искренняго отчаянія, что ея собесѣдникъ съ удивленіемъ, смѣшаннымъ съ невольнымъ удовольствіемъ, посмотрѣлъ въ ея лицо.

Она не могла себѣ представить, какъ она будетъ ѣхать одна до Дрездена, больше не видя предъ собою своего такъ странно воплотившагося въ этомъ чужомъ и незнакомомъ человѣкѣ Клочевскаго.

Поѣздъ отстоялъ положенное число минутъ и снова тронулся въ путь.

Ина и Шуръ сидѣли, молча смотрѣли въ глаза другъ другу.

— Нѣтъ, вы—удивительно странная женщина, мадемуазель Ина!—произнесъ Шуръ черезъ минуту и упрямо закачалъ головою, когда Ина снова поправила его чуть слышнымъ „мадамъ“.

— Нѣтъ, нѣтъ... Позвольте мнѣ называть васъ мадемуазель. Мнѣ пріятно сознавать, что вы независимы, свободны. Женщина всегда болѣе подвластна, нежели дѣвушка. Власть мужа, любящаго жениха, даже любовника втрое ощутительнѣе и сильнѣе родительской власти. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чувствомъ.

— О, вы ошибаетесь!—Лерская горячо запротесто-

вала со своей обычной страстностью.—Въ нашей странѣ много свободныхъ, независимыхъ женщинъ; женщинъ-работницъ, пробивающихъ себѣ дорогу перомъ, кистью, искусствомъ. И я принадлежу къ ихъ числу. Жизнь независимая, такая же, какъ и у мужчинъ, и работа, раздѣленная между мужемъ и женой, вотъ нашъ идеалъ. Вотъ что я понимаю. Вы читали „Утопію“ Томаса Моора?.. Это афоризмъ конечно, но живой, красивый, увлекательный афоризмъ! Женщина получаетъ одинаковое воспитаніе съ мужчиной. Гимнастика, военныя упражненія, спортъ. Съ самаго ранняго дѣтства закаляютъ ея тѣло; а выростивъ сильную гражданку, ей предоставляютъ и равныя съ гражданиномъ права. Мооръ гипнотизируетъ въ своей „Утопіи“ типъ женщины-воина, женщины-земледѣльца, женщины-сенатора. Но это—пріятная для нашего гражданскаго самолюбія, гипотеза, согласитесь сами.

— Но утопія и осталась утопіей,—осторожно съ тонкой улыбкой замѣтилъ Шуръ.

— Къ сожалѣнію такъ, но она все же отразила идеалъ стремленій самого автора въ связи съ тогдашнимъ политическимъ и экономическимъ положеніемъ, разлагающимся подъ гнетомъ англійскаго феодализма.

— Но почему же Томасъ Мооръ не могъ быть утопиченъ въ нашемъ теперешнемъ смыслѣ слова?

— Да потому, хотя бы, что онъ заложилъ фундаментомъ утопіи—идеалъ государства древности въ лучшую эпоху его процвѣтанія. Здѣсь видно вліяніе отчасти Платона, отчасти Аристотеля.

— Вы любите философовъ древности?

— Безумно. Они умѣли научить любить жизнь и— что еще цѣннѣе, при этой огромной любви—просто относиться къ смерти. А въ этомъ есть несомнѣнное величіе, безстрашіе и красота.

— Вы всегда были такой язычницей?—снова улыбнулся Шуръ.—Впрочемъ я—тоже язычникъ: я поклоняюсь своеобразному богу—женщинѣ... Это божество несокрушимо въ своемъ обаяніи. Увѣряю васъ, ей необходимы жертвенникъ, храмъ скорѣе, нежели тога адвоката, халатъ доктора или астролябія землемѣра. Въ одномъ я не могу не признать ея права: женщина должна властвовать царицею въ храмѣ искусства. Это— ея право, ея сфера и никто не смѣетъ отнять ее отъ нея.

— И Данька говоритъ то же! Какъ странно вы и онъ—одно и то же и оба несете одинаковую чепуху... неисправимые антифеминисты!—заявила Лерская, искренно смѣясь.

— Кто?—Шуръ сдѣлалъ большіе глаза подъ своимъ пенснэ и тоже засмѣялся заразительнымъ смѣхомъ.

Внезапная тьма наполнила вагонъ, заставивъ внезапно прекратить веселую бесѣду. Въѣхали въ туннель и съ убійственной быстротой понеслись подъ землею.

— У насъ, въ Парижѣ,—снова заговорилъ Шуръ, когда выѣхали изъ темнаго подземелья,—есть небольшой романъ изъ переводныхъ. Кажется, авторъ—русскій или полякъ. Въ немъ ясно выраженъ взглядъ на женщину, какъ на вождя прекрасныхъ началъ въ искусствѣ. Романъ называется „У алтаря“. Вы не читали?

Улыбка скользнула по лицу Ины.

— Это моя вещица!—произнесла она просто.—Это—мой романъ, написанный лѣтъ шесть назадъ.

— Вашъ?—Шуръ взглянулъ на нее недовѣрчивымъ взглядомъ.—Такъ вы—писательница?

— Да.

Новый туннель, менѣе продолжительный и болѣе свѣтлый.

— Мы подъѣзжаемъ къ Кемму,—сказалъ спутникъ Ины послѣ продолжительной паузы молчанія.

— Такъ скоро?

— Ужасно скоро,—съ чистосердечнымъ сожалѣніемъ произнесъ Шуръ,—а между тѣмъ мнѣ такъ не хотѣлось бы сейчасъ разставаться.

— О, да, и мнѣ также!—искренне, безъ тѣни фальши сорвалось съ губъ Лерской.

— Мадемуазель Ина! Я такъ счастливъ!—смущенно улыбнулся Шуръ,—я такъ польщенъ.

— Напрасно! Это относится вовсе не къ вамъ, а къ тому, кого я вижу въ вашемъ образѣ. Повторяю, вы до нелѣпости, до невѣроятія похожи на дорогого мнѣ, безконечно дорогого человѣка... Въ вашемъ лицѣ я вижу его черты, въ вашемъ голосѣ слышу его голосъ въ вашихъ глазахъ вижу его глаза. И сужденія, и взгляды у васъ, и моя встрча съ вами и съ нимъ аналогичны. О, какая сладкая мука смотрѣть на васъ и видѣть его, безконечно любимаго, дорогого!

Французскій языкъ полонъ ласковой нѣвучести. Глаза Ины восторженно смотрѣли на ея собесѣдника,

а блѣдное обычно лицо пылало румянцемъ. Лерская жадно смотрѣла на Шура и тихонько шептала дорогое имя:

— Данька! Милый! Желанный! Лѣсной фавнъ!

— Кеммъ!—заглянувъ въ ихъ отдѣленіе, любезно и совершенно некстати объявилъ кондукторъ.

— О, теперь я вѣрю, — рѣшительно произнесъ Шуръ,—вѣрю, что вы написали „У алтаря“, вотъ этой самой тоненькой и слабой рученкой, вѣрю, что вы живете въ кибиткѣ и ходите въ полосатыхъ халатахъ вродѣ индусскихъ женщинъ, вѣрю, что вы можете олицетворить на практикѣ теорію Моора, если бы вамъ дать въ руки власть. Вы—особенная женщина, и эта особенность сквозитъ въ каждомъ вашемъ движеніи, въ каждомъ словѣ. И... и доведите свою особенность до конца: разрѣшите мнѣ повидать васъ завтра.

— Но вамъ надо остановиться въ Кеммѣ, оттуда вы поѣдете въ Вѣну,—нетвердо промолвила Лерская: слишкомъ великъ былъ соблазнъ увидать еще завтра хоть разъ такъ ужасно знакомое, дорогое лицо...

— Что значитъ Вѣна въ сравненіи съ тѣмъ рѣдкимъ восторженнымъ, прекраснымъ чувствомъ, котораго я дѣлаюсь невольнымъ свидѣтелемъ и которому нѣтъ равнаго на землѣ. И въ Вѣну успѣется. Позвольте мнѣ быть вашимъ гидомъ въ старомъ Дрезденѣ?

Ина немного задумалась и послѣ недолгаго колебанія отвѣтила утвердительнымъ кивкомъ головы.

— Я счастливъ,—искренне и просто сказалъ Шуръ и, вырвавъ небольшой листочекъ изъ записной книжки, написалъ на немъ нѣсколько словъ.—Вотъ... Отель „Кей-

зеръ Вильгельмъ", противъ вокзала. Тамъ вамъ будетъ удобно и хорошо. Если позволите, завтра ровно въ часъ, я постучу въ вашу дверь.

Съ низкимъ поклономъ Шуръ передалъ Инѣ листокъ, крѣпкимъ пожатіемъ руки простился съ нею и вышелъ. Но въ тотъ же мигъ вернулся въ купэ.

— Прошу васъ, ложитесь пораньше. Завтра я намѣренъ замучить васъ дрезденскими рѣдкостями. Спите хорошенько! Вамъ необходимо отдохнуть, мадемуазель Ина... О, я желалъ бы сторожить вашъ сонъ, какъ нянька!—добавилъ онъ совсѣмъ тихо и мягко.

Лерская молча улыбнулась и долго стояла, прильнувъ горячимъ лбомъ къ холодному окну вагона, стояла и смотрѣла вслѣдъ удалявшейся фигурѣ, и снова ей казалось, что все это она видитъ во снѣ.

XII.

Черезъ огромное готическое, строго выдержанное въ своей прекрасной архитектурѣ, зданіе центральнаго вокзала Лерская въ толпѣ другихъ пассажировъ попала въ старый Дрезденъ, на Пражскую площадь.

Красавецъ Дрезденъ улыбался и прощальными улыбками заходящаго солнца, и зеленью садовъ, и старинными средневѣковыми зданіями, и чистенькими, узенькими улочками съ тѣсно застроенными домами. На Пражской площади вертѣлись на своихъ колесныхъ конькахъ уличные конькобѣжцы, выдѣлывая изумительные пируэты на потѣху частыхъ, несмотря на позднее время, прохожихъ. Звенѣли звонки трамваевъ, бойко торго-

вали кофейни. Гдѣ-то въ одномъ изъ кафе гремѣла музыка.

Когда румяный, молодой, жизнерадостный, какъ всѣ здѣсь, въ старомъ прекрасномъ Дрезденѣ, саксонецъ-носильщикъ притащилъ ручной багажъ Ины въ гостиницу (свои сундуки она отправила въ Шандау, въ отель Императора Вильгельма) и управляющій распахнулъ дверь номера предъ нею, Лерской захотѣлось смѣяться отъ восторга. Въ окно бѣлой, подъ карельскую березу, комнаты, устланной свѣтлымъ пушистымъ ковромъ, смотрѣли зеленые каштаны, цѣлый лѣсъ, цѣлое море зеленыхъ каштановъ, сторожившихъ садъ. Дальше за ними высилась готическая церковь съ огромными часами на вышкѣ, и виднѣлся кусочекъ людной улицы съ зеркальными окнами магазиновъ. Цвѣты на подзеркальникѣ, цвѣты на столѣ, на шкафикѣ у постели и на полу. Тутъ были разбросаны бѣлыя розы, да и всюду были бѣлыя розы кругомъ.

— Что это?—указала она глазами на нихъ съ улыбкой того же изумленія и восторга.

— Мы изъ Кемма часъ тому назадъ получили по телефону приказаніе приготовить все это для фрейлейнъ. Едва успѣли принести изъ садоводства... къ счастью поѣздъ нѣсколько опоздалъ,—съ обязательной почтительностью отвѣтилъ метръ д'отель.

„Шарль Шуръ... Какой милый!"—мысленно пронеслось въ головѣ Ины, и вдругъ краска ударила ей въ лицо.

— Этотъ номеръ, должно быть, слишкомъ дорогъ для меня!—обратилась она къ саксонцу.

— О, фрейлейнъ, не безпокойтесь!.. Всего четыре марки въ сутки.

— Четыре марки! Такая прелесть? О, милые саксонцы! Милый Дрезденъ! Какъ хорошо!

Въ этотъ вечеръ, ложась въ постель и кутаясь въ бѣлое стеганое атласное одѣяло, Ина думала снова о далекой Россіи, о дочери и о томъ удачномъ суррогатѣ Клочевскаго, котораго она увидитъ завтра, и сладкое волненіе захватило ее.

Когда старинные часы на готической башнѣ отбили двѣнадцать ударовъ, она уже спала, убаюканная долгой дорогой, подъ шелестъ каштановъ, вкрадчиво льнувшихъ въ открытыя окна бѣлой комнаты... И ей снились Клочевскій и Шуръ.

* * *

„Тукъ, тукъ, тукъ“!

— Разрѣшается войти?

Это было ровно въ часъ, пунктуально, какъ въ аптекѣ.

Дверь широко распахивается. Ина, успѣвшая съ утра объѣздить оба города—старый и новый Дрезденъ, повидать красавицу Эльбу, голубой лентой разорвавшую его на два берега, и переодѣться въ единственный захваченный сюда бѣлый пикейный костюмъ, невольно придерживаетъ рукой вдругъ забившееся при этомъ стукѣ сердце.

Движеніе двери, поддавшейся сильной рукѣ,—и Лерская машинально опускаетъ взоръ на рисунокъ ковра

и, когда поднимаетъ глаза снова, вспыхиваетъ вся, какъ институтка.

Опять онъ—Данька или Шарль Шуръ, все равно!.. два лица, слившіяся въ одно. Они оба стоятъ на порогѣ.

— Боже мой, какъ я рада! — искренно вырывается у нея.

Она протягиваетъ Шуру обѣ руки, и онъ осторожно, нѣжно подноситъ ихъ къ губамъ.

— Мадемуазель Ина, я не спалъ всю ночь и грезилъ вами.

— Мадамъ, мадамъ, дорогой мсье Шарль!—смѣется Ина.

— О, нѣтъ! Позвольте считать васъ дѣвушкой. Вѣдь не трудно для васъ дать маленькую иллюзію человѣку.

— Хорошо,—серьезно говоритъ она.— Вѣдь и я не остаюсь въ долгу. Вы для меня—не вы! А за цвѣты благодарю сердечно. Ну-съ, къ Мадоннѣ прежде всего, да? Въ музей Цвингеръ?

— А пообѣдать раньше? Маленькій ранній обѣдъ. Настоящій будетъ позднѣе, предъ театромъ. Вѣдь вы знаете, наши нѣмцы встаютъ съ пѣтухами и обѣдаютъ въ часъ, въ два!

— Миленькій обычай! Это совсѣмъ не по-русски... Вы не курите?—неожиданно удивляется Ина.

— Никогда въ жизни.

— И Данька тоже!

— Кто?

— Онъ... то-есть ваше первое вы.

— Ага, понимаю: тотъ, кого вы любите и на кого я имѣю счастье быть такъ изумительно похожимъ.

— Счастье?

— Ну, да. Будь это иначе, мнѣ не представился бы случай узнать оригинальнѣйшую изъ женщинъ въ мірѣ.

— Неужели?—и лицо Лерской снова дѣлается серьезнымъ, когда она впивается любующимся взоромъ въ его лицо.—Жаль только, что вы старше его, лѣтъ на восемь, должно быть, и носите это противное пенсне,—роняетъ она, какъ въ бреду.

— Но безъ него я не вижу ни вашего милаго личика съ этими восторженными глазами, ни вашей очаровательной фигуры!

— Не говорите пошлостей, мсье Шарль! Тотъ—другой, далекій—чуждъ ихъ, какъ сказочный принцъ, какъ аристократъ духа, и за это я обожаю его. Выдержите сходство до конца. Пожалуйста! Молю васъ объ этомъ...

— Какъ вы любите его! Какъ вы полны имъ!

— Я не понимаю любви иначе. Любовь, это—высшее служеніе, это—священнодѣйствіе. Она должна быть чиста, возвышенно-прекрасна и благородна, какъ и все прекрасное въ мірѣ. Послушайте, въ своей жизни я искала, металась, призывала того, кто давно въ мечтахъ уже былъ избранъ мною. Мой идеалъ—человѣкъ безъ пятна на совѣсти, человѣкъ, отдающій борьбѣ за правду всѣ свои силы, борецъ жизни, рыцарь красоты. Все прекрасное должно въ немъ слиться въ одинъ сплошной аккордъ, въ одинъ торжествующій небесный гимнъ. Земныя пѣсни звучатъ фальшиво. Только тамъ, недосягаемо высоко,

должна зародиться истинная пѣсня небесъ, олицетвореніе любви міровой, прекрасной. И, мнѣ кажется, я нашла его и счастлива съ нимъ безъ конца.

Французскій языкъ облегчаетъ Инѣ ея задачу; онъ помогаетъ говорить красивѣе, ярче, острѣе, по-русски вышло бы болѣе плоско. Ина чувствуетъ это, и ея глаза горятъ.

А взглядъ Шура не отрывается отъ нея, съ каждой минутой становится все мягче, все глубже... И сердце бьется неровнымъ боемъ, и весь Шуръ захваченъ этой чужой любовью, соучастникомъ которой такъ нелѣпо и странно сдѣлала его судьба.

* * *

Они обѣдаютъ въ Англійскомъ саду, укрывшись за зеленымъ миртовымъ трельяжемъ. Какіе-то подгулявшіе съ помощью отечественнаго пива саксонцы шумно радуются по сосѣдству, неизвѣстно чему. Они высоко поднимаютъ кружки, чокаются и кричатъ свое «hoch», неистово дымя зловонными сигарами. Жарко—и отъ игристаго шампанскаго, отъ лучей солнца, заливающаго Дрезденъ съ его готическими музеями и дворцами, съ синеводной красавицей Эльбой, съ памятниками и скверами на каждомъ шагу. Глаза Шура не отрываясь смотрятъ на Ину. Она нравится ему все больше и больше, эта своеобразная женщина съ восторженными, страстными порывами, усталымъ лицомъ и молодой, горячей душою. Сквозь кружево бѣлой блузки сквозитъ ея тѣло—тонкое, гибкое тѣло, которое онъ угадываетъ подъ облакомъ наряднаго бѣлья.

„Женщина богемы... писательница... неужели она недоступна?“—мелькаетъ у него, и его взглядъ дѣлается тяжелымъ, непріятно-жаднымъ и давитъ Ину.

И подъ этой властью его жадныхъ глазъ ей становится нехорошо, непріятно. Тотъ, милый жрецъ, такъ не смотритъ, даже въ минуты страсти въ его глазахъ—восхваленіе красоты.

— Мсье Шарль,—лепечетъ она чуть слышно,—торопитесь, я съ десяти лѣтъ влюблена въ Мадонну по копіямъ... Какъ странно хочется увидѣть оригиналъ!

Шуръ слишкомъ корректенъ и воспитанъ, чтобы не понять намека. Его изящная фигура въ безукоризненно сшитомъ англійскомъ костюмѣ покорно поднимается. Онъ отходитъ отъ стола, расплачивается съ кельнеромъ, приказываетъ позвать экипажъ, и черезъ пять минутъ они ѣдутъ по залитымъ солнцемъ, словно празднично ликующимъ улицамъ.

Какъ хорошо!.. Сердце Ины ширится, въ груди разливается предчувствіе какой-то новой, торжествующей силы.

* *
*

Подъ огромныя ворота музея Цвингера они входятъ оробѣвшіе, какъ дѣти.

— Меня подавляетъ эта грандіозность, — шепотомъ признается Лерская.

Въ темноватомъ, прохладномъ вестибюлѣ тихо и торжественно, какъ въ храмѣ, хотя онъ и полонъ людей. Ходятъ на цыпочкахъ, говорятъ шепотомъ. Швей-

царъ съ булавою продаетъ билеты, сторожа стоятъ важные, какъ нѣмецкіе кронцринцы, а огромная, широкая лѣстница, крытая ковромъ, убѣгаетъ наверхъ, ведетъ въ самое сердце музея, въ его святое святыхъ. Въ одну минуту Ина, чувствуя приливъ настроенія, поднимается легкой поступью по отлогимъ ступенямъ. Стройная фигура Шура въ свѣтломъ костюмѣ о-бокъ съ нею.

Преддверіе храма — старинная итальянская школа. Лица, подернутыя облаками неземныхъ настроеній, дѣвственныя черты ихъ Мадоннъ, Христосъ — прелестный, невинный мальчикъ. Дальше по ряду узкихъ и широкихъ залъ и галлерей проходятъ во фламандскій отдѣлъ. Пышныя, толстыя тѣла, женщины съ волоокими взорами, подернутыми сытой истомой, удовлетворенностью жизнью и ея дарами. Столы, сгибающіеся подъ тяжестью яствъ, плоды... плоды и плоды, чувственныя, пышныя голыя тѣла, чувственная жизнь. Потомъ древній Римъ, Греція, кровавая трагедія христіанства. Дальше библейскій и средневѣковый терроръ, инквизиція, потоки крови...

Ина потрясена. Забыты и Шуръ, и все далекое и близкое сердцу, въ эти минуты все забыто. Какія переживанія! Она въ экстазѣ отъ всей этой красоты! И подумать только: люди, создавшіе это, были такими же смертными, ходившими по землѣ, любящими или ненавидящими себѣ подобныхъ!.. Ноги Лерской зудятъ отъ усталости, но она не замѣчаетъ этого. Переходятъ изъ комнаты въ комнату, перебѣгаютъ отъ картины къ картинѣ.

Шуръ—прекрасный гидъ. Это—живая энциклопедія. Онъ знаетъ исторію искусствъ, точно рожденъ быть художникомъ-теоретикомъ. Почти не заглядывая въ каталогъ, онъ поясняетъ своей спутницѣ идею автора и картины, смыслъ творчества, вліяніе школы, отразившееся на немъ, эпоху, періодъ, успѣхъ выдающихся картинъ первыхъ художниковъ.

— Я бываю здѣсь ежегодно и все-таки не нахожу этого достаточнымъ для себя, — бросаетъ онъ вскользь, между прочимъ.

— „Она“ въ той комнатѣ, — слышитъ Ина почтительно-подобострастный шепотъ какой-то туристки-швейцарки, — „она“ тамъ...

И сердце Лерской вздрагиваетъ: тамъ, за этой дверью, „она“, Мадонна.

Что-то до боли тѣснитъ горло, когда она съ чувствомъ, похожимъ на мистическій восторгъ, доходящій до самозабвенія, переступаетъ порогъ завѣтной комнаты. Бросаются сразу въ глаза огромное окно, простой диванъ налѣво отъ двери, деревянная баллюстрада съ приступками и въ глубинѣ что-то огромное, величественное и свѣтлое, какъ небо.

Облака всѣ изъ крошечныхъ гуманныхъ головокъ и ангельскихъ крылышекъ. Разорванная на двое посрединѣ завѣса. Фигуры св. Сикста, св. Варвары и опять облака. Внизу два мечтающіе, съ невыразимымъ словами выраженіемъ на лицахъ, прелестные маленькіе херувима. И посрединѣ центральная фигура — Она... Женщина, Мать, святая Мать Предвѣчнаго Сына... Она

стремительно нисходитъ по облакамъ. Вѣтерокъ слегка отдуваетъ голубую пелену покрывала. На ея рукахъ Спаситель. Жизненно-просто, по-людски, по-житейскому просто держитъ Его Мать. И лицо у Нея нѣжное, материнское, радостное, озабоченно-прекрасное, полное мысли о Своей пресвѣтлой ношѣ. Глаза—благіе, чистые глаза дѣвственницы, но уже предчувствующіе далекую печаль, скорбь матери и смиренную покорность передъ неизбѣжнымъ. Мадонна прекрасна, величественно-прекрасна и по замыслу, и по исполненію. Но не она подчинила, всевластно захватила всѣ чувства Ины, смяла ихъ и повергла во прахъ предъ новымъ, грандіознымъ, острымъ до боли сознаніемъ необычай[illegible], торжествующей и мощной красоты. Христосъ, Предвѣчный Младенецъ или—вѣрнѣе—Его глаза точно взяли душу Ины и бросили къ его ногамъ. Эти глаза, темные глаза ребенка уже полны величія Бога. Они милостивы и строги въ одно и то же время, ангельски чисты и старчески мудры. Они смотрятъ въ міръ и видятъ вѣчность. И эта вѣчность отражается въ нихъ самихъ. Эти глаза горятъ святымъ ликованіемъ, прощеніемъ и готовностью предчувствуемой жертвы, несущей спасеніе міру.

Въ комнатѣ музея тишина. Точно на молитвѣ стоятъ, сидятъ на боковомъ диванчикѣ люди и смотрятъ, смотрятъ безъ конца. Сидитъ и Ина. Ея глаза впиваются въ картину, въ душѣ цѣлый міръ восторга. Слезы повисли на рѣсницахъ, а сердце дрожитъ: въ немъ молитва и пѣснь...

Кто-то говоритъ около нея, но что говоритъ этотъ

„кто-то“, она не слышитъ, не понимаетъ. Молитва длится... Длится безконечное упоеніе этой міровой красотой.

Чья-то рука касается ея таліи.

— Что такое? — словно пробуждаясь отъ сна, роняетъ Ина въ забывчивости, громко по-русски.

— Дитя мое! Мое дорогое дитя, сейчасъ закрываютъ музей. Надо идти,—нѣжными, ласкающими звуками слышится у самаго ея уха.

Ина оборачивается. Лицо Клочевскаго-Шура склоняется надъ нею, рука протянута къ ея рукѣ.

— О, Шарль,—шепчетъ Ина потрясенная, — какъ это прекрасно! Я хотѣла бы сейчасъ умереть, умереть, умереть!..

И слезы градомъ сыплятся по щекамъ, въ то время какъ губы улыбаются блаженной улыбкой...

* *
*

— О, какая я глупая, совсѣмъ-совсѣмъ глупая нынче! смѣется Лерская, выходя изъ воротъ музея. — Мсье Шарль, что вы подумали обо мнѣ, когда я ревѣла тамъ, какъ влюбленная гимназистка?

Они идутъ по набережной Эльбы навстрѣчу солнцу, готическимъ зданіямъ и дворцамъ.

— Я любовался вами,—говоритъ Шуръ просто и впивается въ нее взглядомъ, полнымъ нѣжности и волненія.—Не знаю—почему, но каждое ваше слово западаетъ мнѣ въ душу, каждый жестъ, каждый взглядъ. Когда вы смотрите на меня съ такимъ неподдѣльнымъ

чувствомъ радости, видя во мнѣ черты другого человѣка, я волнуюсь, какъ мальчикъ, я горю. О, мадемуазель Ина, онъ долженъ быть счастливъ, тотъ... я не знаю, кто онъ, будущій или настоящій мужъ, вашъ женихъ или любовникъ, но знаю, что долженъ быть счастливъ, безспорно, да!

Дѣвочка съ корзиной цвѣтовъ подбѣгаетъ къ нимъ и наивнымъ движеніемъ протягиваетъ корзину. Шарль покупаетъ всѣ цвѣты, какіе у нея есть, и передаетъ ихъ Инѣ.

— Маленькое добавленіе къ тѣмъ, что дома.

— Мерси!

Они садятся на скамьѣ подъ великолѣпнымъ старымъ каштаномъ. Позади нихъ высится дворецъ. Сбѣгаетъ къ рѣкѣ широкой террассой ступеней маленькая пристанька у берега Эльбы.

Ина чувствуетъ на себѣ неотступный взглядъ Шарля.

— Какъ долженъ быть счастливъ вашъ женихъ! — повторяетъ онъ настойчивѣе, экспрессивнѣе.

— Нѣтъ, нѣтъ, — вздрагивая всѣмъ тѣломъ подъ этимъ взглядомъ ястреба, протестуетъ Ина,—онъ—не женихъ, не мужъ и не будетъ имъ никогда: онъ даже не любовникъ, не тотъ любовникъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, какъ это принято понимать. Онъ — жрецъ, я — жрица. Мы священнодѣйствуемъ оба, служа одному и тому же божеству красоты и въ честь него слагая наши гимны небесъ. И меня даже ужасаетъ мысль о томъ, что мы могли бы жить подъ однимъ кровомъ и быть

обыкновенной „парой“. О, мсье Шарль, вамъ этого не понять!

— Но будущее, мадемуазель Ина? У васъ есть будущее съ нимъ?

„Сказать ему о Женѣ?“—мелькаетъ въ головѣ Ины быстрая мысль и она спѣшно, какъ и въ ту темную франценсбадскую ночь, разсказываетъ Шуру то, что говорила барону.

Шарль слушаетъ, потрясенный до глубины души ея признаньемъ.

— Какая невѣроятная, запутанная исторія!.. И вы можете улыбаться, радоваться, мадемуазель, нося это бремя въ душѣ?

— Я люблю его,—говоритъ Ина просто.

— Но... послушайте, большое дитя, когда-нибудь наступитъ конецъ этой дивной весенней сказкѣ?

— Я не хочу думать о концѣ.

— Ну, а если онъ встрѣтитъ и полюбитъ другую...

— Этого не можетъ быть! Онъ любитъ меня.

— Но не обѣщалъ онъ вамъ всю жизнь пробыть съ вами?

— Никогда.

— Значитъ, онъ предвидитъ конецъ.

— Неправда!—горячо протестуетъ Ина, и вся краска отливаетъ, сбѣгаетъ съ ея лица.

— Послушайте,—говоритъ Шуръ,—я не хочу обвинять того, кого вы любите, такъ страстно, но... но, милая женщина, подумайте объ одномъ: нельзя жертвоприносить и священнодѣйствовать всю жизнь. Сейчасъ у васъ

праздникъ любви, но, когда къ вамъ—не приведи, Господь!—постучится горе, сумѣетъ ли вашъ „жрецъ“ оградить васъ отъ него, заслонить своей фигурой отъ грядущей грозы, бережно отстоять васъ отъ житейской невзгоды? Предлагалъ ли онъ по крайней мѣрѣ позаботиться о вашей жизни, жертвовалъ ли собой для васъ хоть разъ? Обѣщалъ ли всю жизнь оставаться вашимъ другомъ, роднымъ, близкимъ существомъ, хотя бы и не живя съ вами подъ однимъ кровомъ?

— Нѣтъ, это говорилъ другой, будущій мужъ; этотъ жизнь пожертвуетъ для меня,—тихо, чуть слышно признается Ина.

— Вотъ видите...

— Ахъ, что вы говорите! Обо мнѣ заботиться не надо. Я сама сильна, какъ мужчина, провожу по четырнадцати часовъ въ сутки за письменнымъ столомъ и сумѣю постоять за себя.

Шуръ не можетъ удержаться при видѣ ея задорнаго лица въ эту минуту и хохочетъ. Пенснэ падаетъ съ носа, онъ смѣется до слезъ. Смѣется и Ина, неожиданно зараженная его смѣхомъ.

Крупныя капли дождя падаютъ на землю и отрезвляютъ обоихъ. Среди оживленной бесѣды они не замѣтили, какъ подползли тучи надъ ихъ головами.

— Я полечу за экипажемъ. Подождите подъ навѣсомъ, не правда ли?—проситъ Шуръ и быстро исчезаетъ за группой каштановъ.

Черезъ пять минутъ, мягко шурша резиновыми шинами по асфальту, подкатываетъ каретка-купе. Ливень

разошелся во всю. По бульвару и улицамъ бѣгутъ женщины, высоко подбирая юбки, ускореннымъ шагомъ шагаютъ мужчины. И все же продолжаетъ улыбаться старый Дрезденъ и въ этомъ морѣ дождя.

Въ маленькомъ купе тѣсно, уютно, полутемно, но Инѣ хорошо видно лицо Шура. Это лицо сейчасъ говоритъ. И глаза говорятъ, и губы. Губы шепчутъ нѣжно и значительно:

— Вы безконечно, сильно нравитесь мнѣ. Ради Бога не сочтите это за дерзость или за пошлость! Тонкая оригинальная женщина съ такой большой, восторженной душою! Я не смѣю еще сказать, что я люблю васъ, но все мое существо жадно тянется къ вамъ. Я всю свою жизнь мечталъ о такой, какъ вы. Было много женщинъ, безропотныхъ, покорныхъ... Но это—не то, не то! Было много тѣла, слишкомъ много тѣла.—Да! Я очень богатъ, а богатство, къ сожалѣнію,—ореолъ немалый въ нашемъ грѣшномъ мірѣ. Но такой, какъ вы, я еще не встрѣчалъ. Я свободенъ, независимъ, не стѣсненъ никакою службой. И вотъ.... мадемуазель Ина, не сердитесь ради Бога и не удивляйтесь тому, что услышите сейчасъ. Если бы вы пожелали отбросить теперь все то, что отойдетъ въ прошлое рано или поздно, пожелали прочной, горячей и нѣжной привязанности, кликните Шарла Шура... Да, Ина?.. Дорогая... милая маленькая женщина!.. Скажите: „да“!

Ина невольно откидывается въ дальній уголъ каретки. Ея лицо, поблѣднѣвшее отъ волненія, такъ близко сейчасъ къ его лицу, къ его глазамъ, горящимъ

страстью, къ его губамъ, зардѣвшимся отъ близости ея губъ.

— Не надо, Шарль, не надо!—нашла въ себѣ силы вымолвить Лерская.

— Дорогая, желанная, — подхватываетъ онъ снова, сжимая ея руки,—хрупкая крошка съ сильной душою!.. Если бы вы пожелали только! Сегодня же ночью мы уѣдемъ въ Вѣну, оттуда въ Петербургъ... Забрали бы вашу дочь и умчались бы, куда желаете,—въ Парижъ, въ Венецію, въ Америку, наконецъ, въ преріи. Наша встрѣча — роковая встрѣча. Я это чувствую, я въ это вѣрю... Я не стану торопить васъ, я буду терпѣливо ждать вашей привязанности... Моя желанная, обожаемая!.. я баюкалъ бы васъ, какъ дитя, баловалъ бы напропалую... Вы такъ устали! Я богатъ, повторяю, и вамъ не было бы ни въ чемъ отказа. А потомъ, современемъ, привыкнувъ ко мнѣ, вы нашли бы, можетъ быть, возможнымъ скрѣпить нашъ союзъ болѣе прочными узами... Не правда ли, Ина, моя безцѣнная, моя дорогая?

Голосъ Шура, упавшій до шепота, прокрадывается во всѣ уголки, въ самые сокровенные тайники женскаго сердца. Глаза ястреба, дорогіе, знакомые глаза, жгутъ и волнуютъ кровь. Ина уже не видитъ ливня, не чувствуетъ толчковъ кареты. Лицо Клочевскаго — оно же Шарля—предъ нею, блѣдное, взволнованное, безконечно милое въ своемъ страстномъ порывѣ. На минугу сознанье мутится... Она чувствуетъ снова острую близость Даніила. „Онъ“ — Клочевскій — говорилъ такъ, какъ не говорилъ еще никогда. И все-таки она должна ему ска-

зать „нѣтъ“, ему, милому, дорогому.... Между ними Нераевъ, долгъ, честь и вѣчный страхъ за его жизнь... И потомъ они — люди неба, чуждые жизни и ея прозы, а руки Шура жгутъ до боли ея пальцы, горячія, раскаленныя, какъ огонь, а глаза впиваются прямо въ душу... Истома поднимается и заливаетъ тѣло, наливаются свинцомъ руки, ноги... Ина дрожитъ...

Она заставляетъ себя проснуться черезъ силу.

Боже! Эта дрезденская сказка—неужели не сонъ?

— Шарль,—находитъ она въ себѣ силы произнести чуть слышно, — Шарль... Не надо!.. Вѣдь вы даже не знаете меня!

— О, лучше, чѣмъ вы подозрѣваете это!—и горячія губы льнутъ къ ея пальцамъ.

— Послушайте!.. ради Бога... закройте глаза!.. не смотрите на меня такъ!.. Да не смотрите же! Поймите, у васъ „его“ взглядъ, и я теряю силы... Не мучьте!

Карета останавливается у подъѣзда гостиницы.

— Обѣдать, если разрѣшите,—говоритъ Шарль, проводя рукой по блѣдному отъ возбужденія лицу.

— Да, конечно... Но я желала бы за общій табльдотъ.

— Ваше желаніе—законъ,—наклоняетъ онъ голову.

Въ общемъ залѣ шумно, весело, пестро. На эстрадѣ вѣнскій дамскій хоръ визжитъ пронзительными голосами. Пахнетъ духами, цвѣтами. Въ сгущенной отъ множества обѣдающей публики атмосферѣ зала душно до невозможности, но открыть окна нельзя—дождь свирѣпствуетъ за стѣной.

Обѣдаютъ нехотя, лѣниво. Шуръ почти не ѣстъ, только отпиваетъ изъ бакала маленькими глотками.

Старшій кельнеръ приноситъ афиши.

— Сегодня „Орлеанская Дѣва“, въ королевскомъ театрѣ,—говоритъ онъ.—Не желаете ли, экселенцъ, заказать мѣста?

— „Jungfrau!“ Отлично!.. Ѣдемъ!

* * *

Въ нарядномъ, прелестномъ, новомъ королевскомъ театрѣ, въ маленькой литерной ложѣ они сидятъ вдвоемъ. Ина вся тамъ, на сценѣ, живетъ и страдаетъ вмѣстѣ съ Жанной д'Аркъ и горячо аплодируетъ артистамъ. Изъ сосѣднихъ ложъ на нее смотрятъ съ удивленіемъ.

— Несомнѣнно, иностранка,—долетаютъ до нея пониженные до шепота голоса.

Когда въ послѣднемъ дѣйствіи падаетъ занавѣсъ и красивая, нѣсколько полная, героиня, мастерски проведшая главную роль трагедіи, выходитъ раскланиваться къ рампѣ, Ина, не помня себя отъ восторга, бросаетъ ей цвѣты.

— О, у насъ такъ не играютъ въ Россіи! — смущенно оправдывается она, поворачивая лицо къ Шарлю.

— Я ничего не слушалъ и не видѣлъ, кромѣ васъ,— взволнованно говоритъ онъ.

Когда они ѣдутъ по дорогѣ въ свой отель черезъ новый мостъ на Эльбѣ, Ина чуть не вскрикиваетъ отъ восторга. Ливень давно прекратился, утихло небо и какъ бы возродилась снова освѣженная земля. Красавица

Эльба убѣгала въ горы... Надъ нею, красиво уходя въ небеса, рельефно выдѣлялись готическія, стрѣльчатыя зданія дворцовъ, музеевъ и соборовъ. Луна улыбаясь съ неба придавала имъ какой-то необычайный, фантастическій видъ—и старому городу, и окружающей его дивной природѣ.

— Это—сказка, дрезденская сказка! Боже мой, какъ прекрасенъ міръ!

Ина не договариваетъ, смолкаетъ. Потемнѣвшіе глаза Шура снова впиваются страстнымъ взглядомъ въ ея лицо.

— Клянусь, онъ будетъ во стократъ прекраснѣй!—воскликнулъ онъ,—довѣрьтесь только мнѣ, согласитесь на мою просьбу... Сначала въ Вѣну, потомъ за вашей дочерью въ Россію, а потомъ... въ міръ, въ огромный, чудесный, обширный міръ!

— Не говорите такъ, Шарль! Я не смѣю слушать.

— Дорогая! какіе филистерскіе законы помѣшаютъ вамъ? Есть одинъ законъ—законъ любви, и цѣлыя страны созидаются и рушатся по его случайному капризу. Вы сами говорите, что я и онъ—одно и то же. Полюбите меня—и я не окажусь менѣе нѣжнымъ, благороднымъ, нежели онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Это невозможно.—Ина смѣется черезъ силу, но ея смѣхъ звучитъ неестественно, и, чтобы сбросить съ себя эту смутную тревогу, она начинаетъ шутливо учить его выговаривать русскія слова.—Dites donc—бросаетъ она со смѣхомъ:—„Иночка, мое счастье, я васъ люблю безумно, потому что вы неуловимы и далеки, а когда вы поѣдете въ Вѣну со мною, вы

наскучите мнѣ очень скоро, какъ пріѣвшійся галстухъ“!

— Какъ, какъ?—подхватилъ Шуръ.—О, какая невозможно, безчеловѣчно-длинная фраза! Это по-русски?

— По-татарски!—хохочетъ Ина и переводитъ ея значеніе.

Шуръ возмущенъ. Потокъ протестующихъ словъ рвется съ его губъ: невозможно! она—не такая женщина, чтобы наскучить, нѣтъ!

— Вы тоже остановились въ отелѣ „Императора Вильгельма“?—прерываетъ Лерская этотъ страстный каскадъ увѣреній и обѣщаній.

— А вы имѣете что-нибудь противъ?

— Нисколько. Я угощу васъ чаемъ у себя! Это будетъ реваншемъ за вашу сегодняшнюю любезность.

* * *

Лакей давно сервировалъ столъ и неслышно скрылся за дверью. Въ открытыя окна врывается ночь, луна заглядываетъ робко въ комнату, и бѣлая мебель, и бѣлый коверъ, и бѣлыя стѣны—все это кажется свѣтло-голубымъ при ея блѣдномъ сіяніи. Электричество погашено. Волшебной выглядитъ вся обстановка. Каштаны тамъ, за окнами, чуть вздрагиваютъ отъ пробѣгающаго по нимъ слабаго вѣтерка, и брилліантовыми каплями кажутся дождевыя росинки на листвѣ деревьевъ.

На столѣ разставлены холодный ужинъ, земляника, вино, фрукты.

Сердце Ины стучитъ. Сейчасъ войдетъ Шарль, и

она снова увидитъ милое лицо Клочевскаго. Ея собственное лицо пылаетъ румянцемъ. Сохнутъ губы. Большая, острая страсть къ далекому дорогому человѣку туманнымъ хмелемъ бродитъ по всему тѣлу.

Легкій стукъ—и онъ предъ нею.

— Зажгите электричество,—приказываетъ Ина,—и станьте такъ, прямо, предо мною.

Шуръ повинуется, но, проходя мимо нея въ сторону выключателя, неожиданнымъ и мягкимъ движеніемъ падаетъ къ ея ногамъ.

— Ина... дорогая Ина!—шепчетъ онъ безсвязно,—я люблю васъ... Я чувствую и вѣрю—люблю васъ и одну васъ. Ѣдемъ со мною, желанная, близкая, дорогая! Чуткая, восторженная, милая! Довѣрьтесь мнѣ смѣло, съ закрытыми глазами! Довѣрьтесь мнѣ! Его руки охватываютъ талію Лерской, лицо поднимается въ уровень съ ея лицомъ. Онъ встаетъ и заключаетъ мгновенно ее въ ласковыя и тѣсныя объятія сильныхъ и крѣпкихъ, какъ желѣзо, рукъ.—Ѣдемъ со мною!.. Вы не раскаетесь... желанная, дорогая... Я люблю васъ, я хочу васъ! Я умираю отъ желанія имѣть васъ всегда около себя, близко, вмѣстѣ, рядомъ... всю жизнь, вѣчность! Будь моею... моею... моею!

Лицо Шура наклоняется близко, совсѣмъ близко... Его руки соскользнули съ ея таліи и обвили плечи Ины, глаза расширились и потускнѣли...

И Лерская увидѣла стеклянный, безсмысленный взглядъ, напоенный страстью, затуманенный, незнакомый, чужой.

„Не Данька! Не онъ! Нѣтъ!“—съ болью выкрик-

нуло въ ней что-то, и она съ силой оттолкнула отъ себя Шура.

Иллюзія разбилась сразу; оборвался звучный аккордъ и безобразная дѣйствительность обыкновенной похоти заслонила на мгновеніе пеструю сказку переживаній...

* * *

Огонекъ электричества облилъ комнату. Лунный свѣтъ уступилъ ему мѣсто, и бѣлая комната сразу измѣнила свой фантастическій характеръ. Шарль блѣдный, съ неостывшимъ отъ волненія лицомъ, молча глоталъ чай большими глотками. Ина сидѣла съ опущенными глазами противъ него. Ей не хотѣлось видѣть это лицо, обаятельное, близкое ей до безконечности, у чужого человѣка, ненужнаго и едва знакомаго ей.

Тонкимъ чутьемъ умнаго человѣка Шуръ понялъ ея настроеніе.

— Простите,—тихо произнесъ онъ, подходя къ ней и цѣлуя ея руку,—простите, если я минутнымъ животнымъ порывомъ оскорбилъ васъ... Но человѣку свойственны подобные эксцессы и все человѣческое не чуждо ему. Не правда ли? Было бы позоромъ, если бы я, воспользовавшись вашей слабостью, укралъ то, что по праву принадлежитъ другому. Но вы и тутъ сильнѣе меня и не допустили этого. Такъ не сердитесь, дорогая, и, уѣзжая въ свою далекую Россію, помните: Шарль Шуръ любитъ васъ отъ этого не меньше, да!..

* * *

Дрезденская сказка оборвалась на полусловѣ.

На другое утро пароходъ увозилъ Ину.

Тихо плескалась за его бортомъ синеокая красавица Эльба, тѣснились горы вдали. Предмѣстья Дрездена постепенно скрылись изъ вида, и скоро синія громады лѣсистыхъ береговъ съ обнаженною желтовато-сѣрою каменною грудью по обрывамъ поднялись по обѣ стороны рѣки, какъ величавые, стройные великаны.

Четыре часа вверхъ по теченію, между тѣми же то возвышающимися, то понижающимися возвышенностями и маленькій Шандау съ его безчисленными пристанями, съ красивыми отелями, весь утонувшій въ зелени садовъ, прильнувшій къ подножію горы, показался на берегу. Свистъ парохода, звукъ переброшенныхъ мостковъ. Цѣлая орда лакеевъ изъ отелей. И это море зелени на фонѣ горныхъ громадъ, перевитой цвѣтами ползучихъ розъ на уступахъ, гостепріимно встрѣтило Ину.

Въ отелѣ „Золотой Ангелъ“ съ видомъ на Эльбу она обосновалась быстро и уютно въ тотъ же часъ.

Шандау—уголокъ влюбленныхъ. Горы, горы и горы. Меланхолическій рокотъ Эльбы, зеленая чаща, самой природой свитыя бесѣдки на уступахъ террасъ. Лѣсенки примитивно сложенныя надъ обрывами. За рядомъ побережныхъ отелей, скрытыхъ ихъ стѣнами, расположился по склону горы старинный городокъ съ готической церковью, рыночной площадью, съ горными улочками, узкими, какъ тропинки. Все это невольно даетъ настроеніе, уноситъ въ глубь столѣтій за нѣсколько вѣковъ

назадъ. Ароматъ розъ, одуряющій до головокруженія, музыка, звучащая то въ городскомъ паркѣ, то въ курзалѣ, не прерывающаяся ни на минуту, все говоритъ о какомъ-то праздникѣ, чистомъ и молодомъ.

И Ина окунулась въ эту жизнь, тонкую и поэтичную, какъ средневѣковая поэма, жизнь туристки, впивающей въ себя живительный воздухъ, запахъ розъ и очарованіе горныхъ красотъ. И дрезденская сказка теперь казалась миражемъ, расплывшимся гдѣ-то далеко, позади нея.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Когда поѣздъ медленно подползалъ къ платформѣ знакомаго Варшавскаго вокзала, Инѣ казалось, что она задохнется отъ счастья, пронизывашаго все ея существо. Открывъ окно въ купе, пренебрегая несшейся ей навстрѣчу сажей, пылью и дымомъ, она высунулась по-поясъ и неистово махала платкомъ. Еще издали увидала она знакомыя фигуры—свѣтлый костюмъ Наты, бѣлый китель Евгенія, огромную шляпу Навѣтовой надъ смуглымъ лицомъ испанки, Эмму въ ея клѣтчатой пелеринѣ, Маню Щурову, свою ближайшую помощницу по редакторскому дѣлу, доктора Курцева, поэта Брызгалова, неисправимаго ультра-символиста, чрезвычайно туманнаго со своими символами, похожими на шарады, которыхъ никто не понималъ и не цѣнилъ по достоинству. Былъ тутъ и секретарь

редакціи Ивановичъ, старый идеалистъ съ душой, способный по-юношески увлекаться всѣмъ на свѣтѣ, а особенно женщинами. Худенькая, съ большимъ животомъ, замужняя корректорша „Свѣтлаго Вѣстника“ Смирнова, беременная шестымъ ребенкомъ,—всѣ они, ея друзья, были здѣсь налицо съ полными руками цвѣтовъ. Свою дѣвочку Ина увидѣла прежде всѣхъ. Ната стояла подлѣ Евгенія, юная, стройненькая, какъ молодой тополь. И къ ней тянулись главнымъ образомъ глаза и душа Лерской.

— Ната! Ната! Милая! Женя! Сюда!—крикнула она, когда поѣздъ остановился.

— Вонъ мама, Ната! Вонъ мама!—прерывающимся отъ волненія голосомъ произнесъ Евгеній, и оба шумноликующимъ вихремъ ворвались въ вагонъ.

— Мамочка! Мама!

— Листикъ безцѣнный вернулся, мальчикъ дорогой!

Дочь и Нераевъ кинулись къ ней одновременно.

— Ина Михайловна, берегитесь, отъ васъ не останется ничего!

— Да дайте же намъ поцѣловать ее, несносный вы человѣкъ, Евгеній Александровичъ!.—Это Маня Щурова выходила изъ себя, протискиваясь къ Лерской. Бакуровъ кланяется, думалъ встрѣтить, но по обыкновенію опоздалъ. Всюду опаздываетъ: и на свиданіе, и на Страшный судъ опоздаетъ, увидите, — докладывала Маня, звучно цѣлуя пріѣхавшую въ обѣ щеки.

Ната душила мать въ объятьяхъ. Неласковая въ обычное время дѣвочка наголодалась безъ материнской любви и заботы въ долгое время разлуки, и теперь го-

рячая привязанность къ ней вся вылилась наружу. Эмма лопотала что-то, отвѣшивая книксенъ за книксеномъ и улыбаясь сдержанной улыбкой.

Евгеній впился въ руки Ины и, казалось, не могъ оторваться отъ этихъ тонкихъ кистей.

— Небось не вѣрится, что домой попали?—бросилъ Курцевъ, насмѣшливо улыбаясь глазами чрезмѣрно чувствительной, по его мнѣнію, сценѣ.

— Представьте, докторъ, не вѣрила до самой границы,—засмѣялась Ина, — а какъ ввалился пьяный носильщикъ въ вагонъ да обругалъ кондуктора по-настоящему, по-русски, такъ, знаете, сразу повѣрила поневолѣ. Матушка Россія, значитъ; за-границей этого не услышишь и не увидишь нигдѣ... Раиса, голубка моя! Спасибо за письма.—И Ина прижалась къ стройной, высокой фигурѣ Навѣтовой, которую любила, какъ сестру.

— А какъ здоровье?—осторожно освѣдомился Ивановичъ.

— Объ этомъ и спрашивать не надо... Видите, цвѣтетъ!—рѣшилъ Курцевъ безапелляціоннымъ тономъ.

— Боже мой, какъ я счастлива, друзья мои!—Ина оперлась на руку Евгенія, другой обвила плечи Наты и, окруженная друзьями, прошла на перронъ. — Господа, вы ко мнѣ въ Сестрорѣцкъ, надѣюсь? — Сіяющая, раскраснѣвшаяся отъ волненія, она переводила взглядъ съ одного лица на другое.—Всѣ, непремѣнно, всѣ!

— Я извиняюсь, надо къ паціенту,—отозвался Курцевъ.

— Ну, и шутъ съ вами, господинъ октябристъ! —

отрѣзала по его адресу Маня Щурова,—господа, дорогу господину профессору!

— Раиса, а ты? Съ нами?

— Конечно, ѣду,—улыбнулась та.

— А меня и не зовите, сама навязываюсь,—крикнула Маня.—Ивановичъ, подвезите. Ей-Богу, всего восемь гривенъ въ карманѣ.

— Я на трамваѣ, Марья Васильевна.

— Вздоръ!.. Не сквалыжничайте. Знаю васъ! Жметесь-жметесь, а нашему Кирочкѣ недавно четыре сотенки отвалили.

— Такъ вѣдь это для газеты!

— Евгеній Александровичъ,—съ нахмуреннымъ лицомъ обратился Брызгаловъ къ Нераеву,—дайте мнѣ дополучки три императора серебряной валютой... честное слово, скверно!

— Брызгаловъ, стыдитесь! Несимволично при дамахъ деньги занимать!

Голосокъ Мани Щуровой звучалъ звонко и весело. И поношенный костюмъ, и скромная шляпка ничуть не уменьшали здороваго, молодого задора, который такъ и билъ фонтаномъ изъ этого свѣжаго, никогда не унывающаго существа.

Беременная корректорша стала прощаться на перронѣ вокзала.

— А я—вамъ не компаньонъ. Ребятки ждутъ,—сказала она, извиняясь своими печальными, кроткими глазами.

— Садитесь, господа, берите извозчиковъ на При-

морскій вокзалъ!—скомандовалъ Евгеній. — Листикъ, я уже взялъ ландо. Ната, фрейлейнъ, пожалуйте. Раиса Сергѣвна, вы съ нами?

— Понятно!—На красивомъ лицѣ Навѣтовой сверкала улыбка. Она была неподдѣльно рада возвращенію Ины, своего „друга на всю жизнь“ какъ называла она Лерскую.—А Нату на колѣни. Садись ко мнѣ, Ната!

— Господа, довезите Марью Васильевну. Петръ Михайловичъ, пожалуйста!—попросила Ина.

— Я довезу!—мрачнымъ тономъ согласился символистъ.—Ивановичъ прибавитъ мнѣ еще рубль.

— Согласна!—великодушно заявила Маня такимъ тономъ, что всѣ остальные неудержимо захохотали...

— Милый Питеръ... Россія-голубушка... Наточка, птичка моя! Ахъ, какъ хорошо!—съ такимъ лицомъ воскликнула Ина что, глядя на нее, хотѣлось улыбаться.

„Дома! Дома!“—ликовала по-дѣтски ея душа.

Поздно въ этотъ вечеръ улеглись спать въ маленькомъ домикѣ среди сосенъ.

Мужчины устроились на антресоляхъ, на душистомъ сѣнѣ. Впрочемъ, остались на дачѣ только Евгеній съ Брызгаловымъ. Ивановичъ, всегда изумительно деликатный, побоялся стѣснить и уѣхалъ съ послѣднимъ поѣздомъ въ Петербургъ.

Въ спальнѣ Ины устроили Маню Щурову и Раису. До первыхъ пѣтуховъ болтали три женщины. Ната, забравшись на постель къ матери и свернувшись котенкомъ, крѣпко спала, грезя во снѣ о привезенныхъ ей Иной берлинскихъ подаркахъ. Уснула и Манечка Щу-

рова здоровымъ сномъ молодости. У постели Ины осталась сидѣть Раиса.

— Ну, вотъ ты и вернулась и поздоровѣла,—роняла она, понизивъ свое сильное, грудное контральто.—Теперь помѣхи нѣтъ. Выйдешь за Евгенія... Онъ тутъ рвалъ и металъ въ ожиданіи твоего пріѣзда. Университетъ кончаетъ. Всѣмъ уши прожужжалъ о предстоящей свадьбѣ. Не отвертѣться тебѣ, Ина. А какъ же „тотъ"?

— Рая, голубка, не томи, не знаю!—искренно вырвалось изъ груди Лерской.

— Какъ онъ Нату берегъ, если бы ты знала, твой Женя! Какъ отецъ родной, Ина, если бы ты видѣла только! Трогательно смотрѣть было до слезъ.

— Голубушка, развѣ я не знаю? Видитъ Богъ, мнѣ безумно дорогъ Нераевъ... Когда подумаю только, что могу потерять его, голова идетъ кругомъ. А Клочевскій—мой воздухъ и жизнь. Не будемъ пока говорить объ этомъ, Рая!

— Когда ты увидишься съ нимъ?

— Ахъ, что я знаю?.. Раиса, милая, какая страшная сила у этого человѣка! Сила божества. Какой красотой вѣетъ отъ его титаническаго образа!

— Какое тамъ божество! Брось, пожалуйста! Твое воображеніе таковымъ его сдѣлало, Ина. Самый обыкновенный самецъ. Ненавижу его! За что—сама знаешь.—Голосъ Навѣтовой полонъ негодованія и непонятной злобы, когда она говорила о Клочевскомъ.—Развѣ я слѣпая? Развѣ я не вижу, что ты—игрушка въ его рукахъ? Развѣ каждая первая попавшая женщина не сможетъ

выполнить ту роль, которую ты играешь въ его жизни? О, онъ не глупъ, этотъ Клочевскій. Пользоваться ласками женщины, такой талантливой, крупной духовно, любимой всѣми, какъ ты, развѣ не заманчиво это?.. Но ты-то, Ина, сама развѣ не чувствуешь всей гнусности той роли, на которую онъ тебя обрекъ?

— Молчи, Раиса, молчи! Я люблю его такъ остро, такъ сильно!.. И онъ... и онъ тоже... Этотъ храмъ, въ который мы вошли оба, это умѣнье отдѣляться отъ земли, эта любовь неба, красоты неземной — ее нельзя низвести на уровень любви простыхъ смертныхъ.

— Фразеръ твой Клочевскій, а ты, прости меня, или сумасшедшая, или уже такое Божье дитятко, какого до сихъ поръ не рождалось на свѣтѣ. Я безконечно привязана къ тебѣ; ты знаешь, я понимаю тебя больше, чѣмъ другіе, но въ этомъ вопросѣ мы расходимся разными путями и враждуемъ съ тобой. Пойми, такую, какъ ты, на рукахъ носить надо, лелѣять, беречь твою душу, уничтожать малѣйшіе сучья съ твоего пути. А позаботился ли твой титанъ, „необыкновенный смертный“, надъ этимъ? Нѣтъ, онъ свалилъ всю черную работу на Нераева: „Заботься, молъ, голубчикъ, о ней, ухаживай за нею, сиди у ея постели, когда она заболѣетъ, успокаивай и развлекай, когда она заработается и устанетъ до полусмерти, а я буду раздѣлять съ нею ея веселые досуги и предаваться съ нею неземной любви, улетая въ небеса“.

— Раиса! Рая! И тебѣ не стыдно? — Глаза Ины полны такого отчаянія, что Навѣтова сразу умолкла, и

въ ея большихъ черныхъ, правдивыхъ глазахъ заблестѣли слезы.

— Слушай, Инка, дѣвочка моя!—воскликнула она.— Да, да, не протестуй! Тебѣ за тридцать лѣтъ, но ты— все же дѣвочка и останешься ею до пятидесяти. Твоя душа витаетъ гдѣ-то, и ты всю себя отдаешь любви. О, какъ я понимаю тебя, родная! Но жизнь—не сказка, и люди—не пѣвцы небесной красоты. Люди подлы и эгоистичны до полнѣйшаго предѣла. И я къ сожалѣнію рано поняла это. Слушай: я—актриса, веселая, нарядная бабочка, легкомысленная на видъ, но я переживаю острые и мучительные эксцессы. И путемъ долгаго опыта я пришла къ слѣдующему заключенію: не любить нельзя, а женщинамъ, каковы мы съ тобою, женщинамъ богемы, и тѣмъ болѣе. Слишкомъ много вокругъ насъ красоты и соблазна. И потомъ чувство любви рождаетъ и воспитываетъ духъ творчества. Но, Боже сохрани, показывать и сотую часть того, что мы переживаемъ. Люби молча, въ себѣ, Ина, и скрывай то, что почувствуешь... Да!

— Тогда не стоитъ жить!

— Стоитъ! Пока есть на свѣтѣ такіе люди, какъ Нераевъ, стоитъ, Ина!

— Ахъ, какъ тяжело!

— Тяжело, милая, не спорю, но операція необходима. Дѣлиться ты не умѣешь—ты для этого слишкомъ честна и горда. Губить Евгенія у тебя не хватитъ силы, значитъ...

— Ты—мой злой духъ, Рая! Оставь! Молчи!

— Ничуть. Я только проще и трезвѣе смотрю на вещи и предвижу многое впереди. Клочевскій тебя не любитъ; ему нужно лишь твое тѣло, повѣрь.

— Боже, да развѣ мало красивыхъ женщинъ? Я же—дурнушка среди нихъ!—горячо запротестовала Ина.

— У тебя талантъ, своеобразная оригинальность, и ты всю себя безпредѣльно отдаешь любви... восторженно, до самозабвенія... И твой Данька раскусилъ тебя.

— Милые друзья! Спокойнаго утра! Какой-то докторъ написалъ статью о томъ, что подобный шопотъ для дыхательныхъ путей вреденъ. Прошу принять это къ свѣдѣнію, — послышался сонный голосъ Щуровой, и дальнѣйшая бесѣда оборвалась.

II.

Весь день прошелъ, какъ въ чаду.

Ина вертѣлась, словно бѣлка въ колесѣ, вся уйдя въ работу. Послѣдней въ ея отсутствіе накопилось немало. Издатель „Свѣтлаго Вѣстника“, Бакуровъ, нервный, подвижной человѣкъ, съ цѣлою гривою черныхъ трепаныхъ волосъ, бѣгалъ изъ угла въ уголъ по маленькой редакціонной комнатѣ, отданной въ полное пользованіе Лерской, мѣшая Инѣ работать и повидимому сильно волнуясь.

— Кирочка, если вы не уймете, — честное слово, я брошу писать; нѣтъ никакой возможности. Точно тигръ въ клѣткѣ, — пригрозила, наконецъ, Лерская, потерявъ послѣднее терпѣніе.—Метранпажъ два раза нынче присылалъ за статьею. Наборщики ждутъ.

— А черта ли два мнѣ до этого! Скоро и наборщикамъ, и всѣмъ намъ придется убираться отсюда! Денегъ нѣтъ, и лавочку закроешь поневолѣ. И думаютъ же эти идіоты, что я — капиталистъ! Да, если бы я былъ капиталистомъ, такъ развѣ...

— Къ дѣлу, Кирочка, къ дѣлу. Къ чему вы плетете всю эту ахинею?—пожала плечами Ина.

— Денегъ въ кассѣ нѣтъ, вотъ что, а подписчики и въ усъ не дуютъ. На русскомъ языкѣ, кажется, имъ объявили, что подходитъ второй платный срокъ.

— Ну?

— А не вносятъ... скисли... А у меня платежи. Служащимъ платить надо. Корректорша вотъ „разсыпаться“ вздумала, въ больницу послать проситъ, въ родовспомогательное. И Щурова — довольно-таки безцеремонная особа. Вчера при всѣхъ туфлю съ ноги стянула и тычетъ ею мнѣ чуть ли не въ самый носъ. „Это, — говоритъ,—что такое?“—„Туфля“,—отвѣчаю, а сія допотопная по своему воспитанію дѣвица мнѣ въ отвѣтъ:—„Врете,— говоритъ, — дырка. Мѣсяцъ съ этой дыркой къ вамъ шлепаю, а жалованья полтора не вижу. У меня мать— старуха и двое братишекъ на плечахъ“. И она права...

— Ивановича попросите, у него есть.

— Давалъ ужъ, голубушка. Мнѣ стыдно. А вотъ, Ина Михайловна, милая, вы бы... у Нераева попросили... Вотъ, говорятъ, онъ получилъ подъ закладную дома, кажется.

— У Жени? Никогда!

— Тогда авансикъ у Грекова. Вѣдь романъ ему строчите!

*

— Это ужъ скорѣе. А про нераевскій домъ вы мнѣ и не заикайтесь, Кирочка. — Голосъ Ины сталъ сухимъ и непріятнымъ, какъ всегда, когда она сердилась.—Какой-то жалкій домишка, остатокъ отъ прежняго богатства. И у васъ повернулся языкъ просить его лично, можетъ-быть, Кириллъ Романовичъ?

— Къ несчастью, не повернулся. Вашего Евгенія понять не могу. Былъ офицеръ кавалерійскій, потомъ въ университетъ ткнулся; служитъ въ коронной, а идеи такія разнообразныя, и до сихъ поръ по нимъ рѣшить не могу, кто онъ: эсъ-дэкъ или ка-детъ.

— И что за манія у васъ людей по партійнымъ футлярамъ раскладывать, Кирочка? Не все ли равно— кто, лишь бы былъ честный человѣкъ!

— Покорно вамъ за это!.. Значитъ, и среди черносотенцевъ...

— Ахъ, не злите вы меня, ради всего святого!— возмущенно оборвала Ина.—Допишу, тогда и поговоримъ.

Бакуровъ замолчалъ.

— А авансъ я, пожалуй, достану у Грекова,—помолчавъ добавила Лерская, скрипя перомъ по бумагѣ.— И Манечкѣ на сапоги тоже дамъ сегодня пока...

— И Брызгаловъ...

— И Брызгалову дадимъ. Только скажу, чтобы не затуманивалъ такъ безбожно мозгъ читателей. Послѣдніе стихи, знаете, принесъ: я читаю, ничего не понять. Зову Ивановича; тотъ потѣетъ и тоже ни съ мѣста. Приглашаемъ автора, спрашиваемъ: въ чемъ дѣло? „А я,— говоритъ, — почему знаю? разбирайтесь сами. Мое

дѣло написать, а понимать ваше. Это—символы". Хорошъ?

— Болванъ.

— Нѣтъ, просто зараженъ моднымъ теченіемъ; подражанія бездна, а таланта ни на копейку, вотъ и все... Женя, голубчикъ, вы ко мнѣ? Входите!—увидавъ въ дверяхъ знакомую фигуру, весело произнесла Ина.

— Виноватъ, Листикъ, я не помѣшалъ?—и Нераевъ нерѣшительно перешагнулъ порогъ комнаты.

— Нѣтъ, нѣтъ! Съ шефомъ совѣщались. Издавать надо, а денегъ нѣтъ.

Ина улыбнулась и ребячливо развела руками.

— Прикройте—и все тутъ!—вставилъ Нераевъ.

— А сколько этимъ прикрытіемъ людей голодныхъ по міру пустимъ?—буркнулъ Бакуровъ.

— Такъ лучше разоряться, по-вашему?—снова произнесъ Евгеній.—Всѣхъ бѣдняковъ не облагодѣтельствуешь. Вы Спенсера и его взглядъ на филантропію не забыли? Онъ эту самую филантропію какъ величайшее варварство по отношенію тѣхъ же обездоленныхъ трактуетъ. Хотите быть варваромъ и вы, Листикъ?

— Женя, вы взволнованы чѣмъ-то?

— Ничуть!

— Я же вижу.

— Ну, голубки, воркуйте, а я пойду,—произнесъ Бакуровъ и вдругъ сталъ до-нельзя ершить свою гриву и мяться на мѣстѣ.

— Чего вы? Ахъ, да, вотъ!—Ина быстро достала деньги изъ сумочки. — Щуровой дайте. Смирновой

пошлите. — Да возвратите скорѣе. Я сама на бобахъ.

— Спасибо!.. А насчетъ аванса какъ же?

— Спрошу у Грекова. Протянемъ какъ-нибудь...

— Это чертъ знаетъ что!—по его уходѣ разразился Евгеній.—Вѣдь этому имени нѣтъ! Долго вы будете позволять эксплоатировать себя такъ, Листикъ? Вѣдь сердце надрывается, глядя на васъ. Отъ меня не берете, работаете, какъ волъ. Никакихъ силъ не хватитъ! Бросьте вы этотъ „Свѣтлый Вѣстникъ"! Вы видите, реакція сильна. Люди стали другими, и требованія тоже. Органъ въ агоніи, вамъ его не спасти. Въ послѣдніе мѣсяцы дѣло упало. Прошли тѣ времена, когда прогрессивная пресса кормила ея издателей.

— Такъ что же, по вашему? Я должна въ черные дни бросить умирающую газету, ту самую, которая воспитала во мнѣ писательницу, которая дала мнѣ имя, извѣстность? И это говорите вы, мой свѣтлый Женя, мой рыцарь духа? Вы?

— Листикъ, родной, не сердитесь. Но я вижу, вы мучаетесь, волнуетесь, лѣзете изъ кожи, помогая имъ... Вашъ заработокъ уплываетъ въ чужіе карманы тѣхъ трутней отъ литеретуры...

— Послушайте! Бакуровъ далъ мнѣ обезпеченіе въ лучшія времена, и онъ—честный человѣкъ. Онъ узокъ, правда, но борется до послѣдней крайности. Такъ не топить же его теперь. Я нужна дѣлу. И не злите меня, Женька! Я все ровно не оставлю газеты до ея послѣдняго дня.

— Мальчикъ, милый а обо мнѣ вы не хотите подумать?—нервно заговорилъ Нераевъ, взявъ ея обѣ руки въ свои.—А у меня вся жизнь въ Листикѣ, и я жду не дождусь той минуты, когда вы наконецъ будете моей женой. Всѣмъ вы принадлежите—и „Свѣтлому Вѣстнику", и товарищамъ, и остаткамъ партіи, обо всѣхъ печетесь, заботитесь, какъ мать. Даже Маня Щурова получаетъ отъ васъ больше вниманія, нежели я... Листикъ! Листикъ!— Лицо Евгенія поблѣднѣло, изъ черныхъ глазъ глядѣли упрекъ и тоска. Однако, поборовъ приливъ волненія, онъ заговорилъ немного спокойнѣе:—я былъ бы безгранично счастливъ, если бы могъ дѣлить васъ только съ Натой, съ одной Натой. Да! Видѣть васъ женою и матерью, и больше ничѣмъ. Я—безумецъ, знаю, но я ревную васъ ко всему: къ вашей газетѣ, къ работѣ, романамъ, къ вашему письменному столу, не говоря уже о людяхъ, на которыхъ вы смотрите, съ которыми говорите. Листикъ, маленькій, любимый! Будьте скорѣе моею женою! Я чувствую, что потомъ все это урегулируется, а до тѣхъ поръ я буду мучиться такъ бѣшено-остро! Сознаніе, что вы моя и что никто не отниметъ васъ отъ меня, дастъ мнѣ увѣренность... счастье! И ревновать не стану тогда.

— Собственникъ! Вы—собственникъ—вотъ вы кто!— засмѣялась Ина. — И всѣ-то вы таковы. Въ каждомъ влюбленномъ мужчинѣ сидитъ тюремщикъ: запереть и любоваться одному. Ну, да вы любите, и въ этомъ ваше извиненіе. А теперь везите меня домой; все равно не наработаю, одна чепуха выходитъ. Пусть Ивановичъ закончитъ передовицу. Довольны?

Нераевъ даже въ лицѣ измѣнился отъ этихъ словъ: поблѣднѣлъ мгновенно, потомъ покраснѣлъ. По всему лицу разлилась блаженная улыбка, и руки, когда онъ застегивалъ на Лерской манто, дрожали отъ того же радостнаго волненія.

А въ памяти Ины въ это время вставалъ другой образъ, соблазнительно красивый въ своемъ спокойствіи, незыблемости и твердой увѣренности въ своемъ „я“. И къ нему тянулась душа женщины, какъ цвѣтокъ къ солнцу.

III.

Ина сама не отдаетъ себѣ отчета въ томъ, почему такъ умышленно отклоняетъ она свиданіе съ Клочевскимъ. Жаль Евгенія. Бунтуетъ совѣсть. Нераевъ инстинктомъ нервнаго человѣка всегда угадываетъ, когда она встрѣчается съ тѣмъ „другимъ“, и мучается подозрѣніями.

Послѣ своего пріѣзда изъ-за границы Лерская еще не была у Даніила, а между тѣмъ ежедневно къ ней летятъ письма, полныя призыва, страсти и горячей мольбы о свиданіи. Это—маленькіе листочки бумаги, обжигающіе ея пальцы, длинныя страницы, наполненныя рядомъ мучительно острыхъ строкъ, намековъ на грядущія минуты блаженства.

Ни нѣжность Евгенія, ни пробудившаяся послѣ разлуки съ матерью ласковость Наты не могутъ служить преградой этой не умирающей ни на одинъ мигъ любви. Борьба отброшена, любовь сильнѣе всѣхъ условностей ея, и Ина ѣдетъ.

* *
*

Лѣтній вечеръ поетъ безъ пѣсенъ: поетъ тихимъ небомъ, такимъ нѣжнымъ и голубымъ, деревьями скверовъ и бульваровъ, заходящимъ солнцемъ, всей своей вечерней пышной красотой. По Каменностровскому мчатся щегольскіе автомобили и экипажи на Стрѣлку, съ небрежно раскинувшимися на подушкахъ изящными фигурками нарядныхъ женщинъ. Огромныя шляпы, оживленныя личики, обрывки быстрыхъ фразъ. Звенятъ звонки велосипедовъ, гремятъ вагоны трамваевъ. Пестро, по-праздничному настроенъ огромный городъ въ этотъ вечерній часъ.

Ина ѣдетъ въ извозчичьей колескѣ туда, куда позвалъ ее Клочевскій. Проводя лѣтнее время на дачѣ, онъ не оставилъ зимней комнаты за собой. Они списались, назначили мѣсто свиданія — гдѣ-то въ одномъ изъ отелей; Ина не поинтересовалась даже гдѣ. Нуженъ онъ, Данька, а не обстановка, нужно безконечно дорогое существо, его лицо, глаза, ласки... Мѣсто не играетъ роли; съ нимъ, своимъ Данькой, она пойдетъ на край свѣта, въ тюрьму, въ самый адъ.

— Ина!

Она такъ задумалась о Клочевскомъ и о предстоящей встрѣчѣ, что не замѣтила, какъ извозчикъ довезъ ее до Александровскаго сада, гдѣ Даніилъ обѣщалъ ждать ее у главныхъ воротъ.

— Ина! Птичурка моя! Дорогая путешественница!.. Привѣтъ! — Красныя розы у него въ рукахъ, а лицо полно радости встрѣчи. — Поправилась... посвѣжѣла... птичурочка-крошка, прилетѣла снова! Покажись, покажи

свою мордочку! Молодцомъ!—роняетъ Клочевскій, сильно прижимая къ себѣ локтемъ ея руку.

Лерская едва удерживается на ногахъ отъ волненія.

— Данька! Данька! Данька! — безсмысленно твердитъ она одно и то же разъ двадцать подрядъ.

Все заволакивается въ глазахъ свѣтлымъ, розовымъ туманомъ. Не видно улицы, прохожихъ, не видно ничего. Огромное счастье набѣжало вихремъ и подхватило, и умчало отъ земли... туда, высоко!

* * *

Въ большой вульгарной комнатѣ отеля съ кричащей, яркой обстановкой ждетъ ихъ ужинъ.

—Нѣтъ, нѣтъ, ничего не пью, — смѣется счастливымъ смѣхомъ влюбленной женщины Ина, замѣтивъ бутылку шампанскаго на столѣ, — развѣ для нашей любви нужно постороннее опьяне...

Клочевскій не даетъ ей докончить. Онъ смотритъ на нее жаднымъ взглядомъ, впивается въ ея фигуру глазами ястреба, хищными, ненасытными глазами самца... Ихъ огонь пугаетъ Ину. Ея любовь застѣнчива, робка...

— Дай мнѣ поцѣловать твои ножки!.. Онѣ сводятъ меня съ ума!

Дрожащія руки срываютъ одежды, неумѣло путаются въ застежкахъ и крючкахъ. Быстро расшнуровываются ленты ботинокъ.

— О... ты... ты!

За него договариваетъ его жгучій, какъ огонь, острый и длительный до муки поцѣлуй.

И, когда Ина тонетъ въ морѣ его ласкъ, вся задавленная, смятая, уничтоженная до сладкаго небытія этой огромной, могучей страстью, ей хочется застонать отъ избытка счастья и любви.

— Это — истинное служеніе... Прочь посторонніе вопросы... Прочь жизнь съ ея сѣрой прозой! Любовь наша — священный пиръ боговъ! — говоритъ Клочевскій съ ярко горящими глазами на похорошѣвшемъ до неузнаваемости лицѣ.

А Инѣ хочется сказать ему такъ много. Ей хочется притулиться къ нему, къ его сильной груди и излить свою душу, истосковавшуюся по немъ безъ ласки, повѣрить ему свои муки, свои сомнѣнія — этотъ грядущій вопросъ о Евгеніи. Какъ ей поступить? что сдѣлать теперь? Не можетъ же она выйти замужъ за Нераева!.. Ахъ, она такъ устала думать и терзаться! Пусть онъ посовѣтуетъ ей! Какъ измучена она!

— Потомъ, послѣ!.. — говоритъ Даніилъ легко и спокойно. — Твой Нераевъ — дивный человѣкъ, повидимому, и я счастливъ, что у тебя есть такой вѣрный другъ, который заботится о тебѣ, печется о твоихъ дѣлахъ, ухаживаетъ за моей птичуркой. Я спокоенъ за тебя, пока онъ подлѣ, — заключаетъ онъ между двумя объятіями, цѣлуя Ину.

Что? Или она ослышалась, не поняла его въ эту минуту?

Сразу вся ея страсть исчезаетъ куда-то, и она садится предъ Даніиломъ съ блѣднымъ, похолодѣвшимъ лицомъ.

— Что съ тобою, птичурка, родная?

— Ничего... ничего,—лепечетъ Лерская растерянно, какъ въ бреду.

— Такъ въ чемъ же дѣло? Какое похоронное лицо! Что случилось?..

Она молчитъ. Глубже врѣзается на ея лбу складочка между бровями.

— Птичурка! Мы, кажется, надулись? Фантазируемъ немножко? А?—Ключевскій придвигается къ ней ближе, осыпаетъ градомъ поцѣлуевъ ея лицо, тѣло. — Покажи мнѣ твои глазки, фантазерка моя!

„Что ему отвѣтить?“

Мысленно Ина ставитъ Евгенія на мѣсто Даніила. Могъ ли тотъ сказать нѣчто подобное ей, онъ, ревнующій ее даже къ работѣ, къ стулу, на которомъ она сидитъ, къ незнакомымъ встрѣчнымъ мужчинамъ, обдающимъ ее на улицѣ черезчуръ смѣлымъ взглядомъ? Нѣтъ!

„Ревность — это недостатокъ довѣрія, — мысленно утѣшается она и тутъ же горько поправляетъ сама себя:— или недостатокъ любви. Кто не любитъ, ревновать не станетъ никогда!“

— Ну, птичурка, задумалась опять? Что за манера у женщинъ фантазировать непремѣнно въ самое неподходящее время. Сошлись два любящія существа для взаимнаго наслажденія любовью, а тутъ вотъ начинается какая-то работа въ этой головкѣ. Птюсикъ милый! Да скажешь ли ты, наконецъ, что омрачаетъ тебя?

„Нѣтъ... Говорить не надо: онъ не пойметъ, — уже

рыдаетъ душа Ины,—не пойметъ всего наивнаго цинизма своихъ побужденій. Любить и ласкать онъ будетъ въ часы любовныхъ оргій, а по ту сторону ихъ эротическаго Рубикона онъ предоставляетъ дѣлиться сѣрыми буднями и тревогами со мною другому... Такъ... Таковъ онъ, и его надо брать таковымъ, потому что она любитъ".

Ина дѣлаетъ невѣроятное усиліе надъ собою и, задавивъ въ себѣ это первое разочарованіе, изступленно возвращаетъ Клочевскому его ласки.

* * *

Уже подъ утро, провожая Ину на городскую квартиру, Клочевскій говоритъ небрежно:

— Мнѣ предстоитъ маленькая командировка; недѣли на три уѣду изъ Петербурга.

Ина блѣднѣетъ.

Какъ уѣдетъ? теперь, когда мильонъ сомнѣній поднялся со дна ея души?.. когда она цѣлымъ рядомъ фактовъ хочетъ во что бы то ни стало провѣрить его чувства и отношеніе къ себѣ?

— Неужели, Данька?

— Всего на три недѣли, птичурка, всего на три недѣли. Оглянуться не успѣемъ, какъ вернусь снова. А моя богиня, моя свѣтлая лѣсная женщина будетъ мнѣ писать?

— Еще бы! А ты?

— Милая! Нужно ли спрашивать объ этомъ?

Они идутъ подъ-руку по соннымъ улицамъ столицы. Солнце только что выплыло изъ-за крышъ дома.

— Помнишь, какъ тогда, въ первое утро нашей встрѣчи!—вырывается у Даніила:—восходъ надъ моремъ, первое утро... Мнѣ его не забыть.

— Да, да, — подхватываетъ Лерская, и всѣ ея сомнѣнія при одномъ этомъ воспоминаніи какъ-бы проваливаются въ пропасть.—Я люблю тебя! О, Данька, какъ я люблю тебя!—шепчетъ она, прижимаясь къ нему и замирая отъ счастья.

— Птичурка, милая, родная! И я весь полонъ тобой...

IV.

Воскресенье. Теплый августовскій день, на-диво солнечный и яркій. Тянетъ съ утра на воздухъ. Ина и пріѣхавшіе къ ней друзья рѣшили провести этотъ день совсѣмъ „по-обывательски“ и вполнѣ „буржуазно“.

На берегу Сестры, пограничной рѣки съ Финляндіей, на отмели, развели костеръ. Пекутъ въ золѣ картофель; неумѣлыми руками Ивановичъ, исполняющій роль повара и метръ д'отеля въ одно и то же время, подвязавъ, какъ передникъ, полотенце, дѣлаетъ яичницу на сковородѣ. Ната и Маня Щурова собираютъ шишки въ прибрежной рощѣ. Брызгаловъ, развалившись на травѣ у ногъ красивой Навѣтовой, вполголоса декламируетъ ей свои стихи. Нераевъ куритъ папиросу за папиросой и, прислонясь къ стволу прибрежной сосны, не спускаетъ взора съ Ины. Послѣдняя чѣмъ-то взволнована; озабоченно нахмурены ея темныя брови, глубокая морщинка бороздитъ лобъ, а въ глазахъ за этой

завѣсой тревожной мысли бродитъ неясно то хмельное вино опьянѣнія, которое не проходитъ у Лерской весь этотъ годъ,—ея мысли о Клочевскомъ.

— Листикъ, — тихо зоветъ Нераевъ, — голубчикъ, Листикъ, откройтесь мнѣ! Что васъ гнететъ, что гложетъ? Развѣ я не чувствую, не вижу, какъ вы измѣнились въ этотъ годъ? Милый маленькій мальчикъ! О, если бы вы дали мнѣ возможность взять васъ на руки и унести подальше отъ черныхъ заботъ и волненій! Что-то у васъ есть на душѣ, мой Листикъ! Скажите, подѣлитесь со мной, дорогое мое существо!

„Сказать ему? Но развѣ это возможно? возможно ли разсказать ему и погубить этого чуднаго человѣка, беззавѣтно отдавшагося мнѣ всѣмъ существомъ, одной мнѣ всецѣло?“ съ тоскою думаетъ Лерская.

— Ничего, Женя, увѣряю васъ, все это пустое,— принужденно улыбается Ина, грустно покачивая головой.

Евгеній подходитъ къ ней, беретъ ея руки и нѣжно подноситъ къ губамъ.

— Обвѣнчаемся скорѣе! Милый мальчикъ, что служитъ намъ помѣхой сейчасъ?

О, какъ мучительно чувствовать на себѣ этотъ взглядъ, такой подозрительный и влюбленный, какъ нестерпимо до боли видѣть эти полные любви и укора тоскующіе глаза!..

Лерская готова расцѣловать Ивановича, подвернувшагося со своей яичницей какъ нельзя болѣе кстати.

— Милостивыя государыни и милостивые государи!—громко возглашаетъ тотъ:—хотя, согласно закону

любви, и можно питаться запахомъ фіалокъ и луннымъ свѣтомъ всѣмъ любящимъ сердцамъ, но все же мы живемъ на земной планетѣ, гдѣ желудокъ является едва ли не одинаково важнымъ стимуломъ существованія съ сердцемъ. А посему приглашаю всѣхъ испробовать отъ даровъ сихъ...

— Брызгаловъ, вы останетесь безъ яичницы!— кричитъ Маня,—вы уже сыты! Раису Сергѣевну до косточекъ глазищами съѣлъ.

— Онъ—символъ! Это не опасно,—хохочетъ Навѣтова.

— Евгеній Александровичъ, вамъ единица за поведеніе. Трутень этакій, не помогаетъ никому! Мы съ Натой топливо собрали, Петръ Михайловичъ за повара. Брызгаловъ извлекаетъ изъ себя перлы творчества, Раиса Сергѣевна позировала ради его вдохновенья, а вы что? Курить, какъ китаецъ, свой опій, и ни съ мѣста,—хорохорилась Маня.

— Онъ Инѣ Михайловнѣ куритъ фиміамы,—съ любезной, нѣсколько слащавой улыбкой дамскаго угодника вставляетъ Ивановичъ.

— А Ина Михайловна развѣ работаетъ?

— Ну, Ина Михайловна такъ наработалась въ своей жизни, что ей и не грѣхъ отдохнуть! — заступается Евгеній.

— Вѣрный рыцарь прекрасной дамы!—произноситъ Брызгаловъ.

— Вы-то ужъ помолчите, чучело!—накидывается на него Щурова.—Господа! Нашъ „символъ“ до того зара-

портовался, что въ послѣднемъ стихотвореніи возьми и напиши: „Дрожанье ногъ твоихъ блѣдно-лиловыхъ“. Я ему и говорю, такихъ ногъ не бываетъ. А онъ: „Очень печально,—говоритъ,—если онѣ у васъ другія“. Ей-ей, хотѣлось попросить его снять сапоги, чтобы удивить міръ.

— Ха-ха-ха,—залились Навѣтова и Ната въ одинъ голосъ.

— Вы—невозможная условность въ кубѣ, Марья Петровна. Не переношу такихъ женщинъ рельефа, въ васъ безконечность опредѣленности. Въ кухаркѣ Дунѣ символа больше, нежели въ васъ. У нея глаза точно два затменія, тающія предъ свѣтомъ. Мигъ темной вѣчности и...

— У самого-то у васъ затменія подъ крышей,— смѣется Щурова, постучавъ маленькимъ пальчикомъ въ лобъ поэта.

— Господа! Вотъ гадость! Ивановичъ, миленькій, можно подумать, что у васъ перцовыя заросли... Развѣ можно такъ сыпать? Языкъ сгорѣлъ!—и красивая Навѣтова рѣшительно отстраняетъ отъ себя тарелку.

— Петръ Михайловичъ имѣлъ ввиду Брызгалова, когда дѣлалъ яичницу. Надо было подперчить „символъ“, ужъ очень прѣсенъ!—хохочетъ Маня.

— Марья Петровна, я и кротокъ до послѣднихъ зацвѣтаній возможности, но—берегитесь! Еще одно слово, и скажу дерзость.

— Лучше свои стихи; одно другого стоитъ: одинаково неудобоваримо!

— Господа, картошка—одинъ восторгъ,—кричитъ

Ната, дуя на горячіе черные катышки и перебрасывая ихъ съ ладони на ладонь.

— За здоровье Ины Михайловны и за процвѣтаніе „Свѣтлаго Вѣстника“, ура!—и Брызгаловъ съ рѣшительнымъ видомъ опрокидываетъ въ ротъ рюмку водки.

— И за прелестныхъ дамъ!—вѣрный себѣ, произноситъ Ивановичъ.

— Собственно говоря, не понимаю этого удовольствія,—говоритъ Евгеній,—ѣсть какую-то картошку, притомъ подгорѣлую, и невозможную яичницу съ перцемъ, вѣрнѣе—перецъ съ яичницей, когда все это можно замѣнить завтракомъ, сервированнымъ дома, а не коекакъ на травѣ съ муравьями. Къ чему все это, спрашивается, когда во сто разъ заманчивѣе сидѣть за столомъ на удобномъ стулѣ?..

— Это ради Наты, она давно просила!—объясняетъ Лерская.

— Ну, ради Наты я готовъ на все... хоть зажарить и съѣсть самого Брызгалова, и даже безъ перца.

— Ха-ха-ха!—заливается смѣхомъ Ната и кричитъ:—Брызгаловъ, дядя Женя собирается васъ съѣсть!

— Невкусно будетъ!.. предупреждаю: тяжелое кушанье, слишкомъ много индивидуальности и таланта.

— Ахъ, вы, нахаліонъ!—хохочетъ Маня.

— Господа, кто хочетъ бургонскаго, откупоривайте бутылку сами!

— А я уподоблюсь пьяницѣ на мосту; тысячу извиненій!—и, сорвавъ металлическій колпакъ съ пробки, Ивановичъ при общемъ смѣхѣ открываетъ бутылку тѣмъ

самымъ способомъ, какимъ обыкновенно открываетъ штофъ водки, не отходя отъ монополіи, тотъ же, на улицѣ, русскій человѣкъ.

— Браво, браво, Ивановичъ!—хлопаетъ въ ладоши Маня:—это выходитъ совсѣмъ по-брызгаловски: сліяніе всѣхъ возможностей въ одномъ ударѣ кулака.

— А кулакъ здоровый, не годится для символа! — шутитъ Нераевъ.

— Раиса Сергѣевна, продекламируйте что-нибудь!— проситъ Ивановичъ актрису.

— Я продекламирую свой „Послѣдній стонъ несбыточнаго"! — вызывается Брызгаловъ.

— Караулъ, не надо!.. Иначе я не ручаюсь за себя!

— Марія Петровна, второе предупрежденіе: я не обладаю кротостью.

— Прочти намъ что-нибудь, Рая,—проситъ Лерская.

— Но стоитъ ли, господа? — замялась было Невѣтова.

— Просимъ! Просимъ!—зазвучали кругомъ голоса.

— Только что-нибудь стильное... изъ Бальмонта или Бѣлаго... что-нибудь ультра-символическое, — проситъ Брызгаловъ, ероша свои длинные, жидкіе волосы, падавшіе ему на лобъ.

— „Лиловыя ноги" можете?—шутитъ Маня.

— Монологъ Антигоны прочту я вамъ, друзья мои,— и, прислонившись къ дереву, Раиса пѣвучимъ, красивымъ контральто съ большой экспрессіей проводитъ послѣдній монологъ греческой царевны, ведомой на смерть.

Выходитъ значительно и сильно. Тихо, безъ ма-

лѣйшаго движенія вѣтерка дремлютъ сосны, чуть слышно ульканье обмелѣвшей рѣки, предсмертный трескъ потухающаго костра и этотъ голосъ, мощной волной заливающій сосновую рощу, берегъ и высокій подъемъ на песчаныя дюны по ту сторону Сестры.

— Мамочка, мама, вонъ Эмма бѣжитъ сюда! — неожиданно звенитъ голосъ Наты, врѣзаясь тоненькой струйкой въ бархатныя ноты чтицы. — Что-то важное... должно быть, изъ редакціи... бѣгомъ бѣжитъ. Я побѣгу къ ней на встрѣчу.

Сердце Ины сразу вздрагиваетъ и замираетъ. Она знаетъ, для чего бѣжитъ Эмма; вѣдь она сама просила ее придти за ней тотчасъ же, какъ только получится письмо оттуда, съ Разлива, отъ Клочевскаго, который долженъ уѣхать не сегодня, завтра далеко-далеко. Извѣщеніе о часѣ его отъѣзда.

„Неужели же завтра?“ опять замираетъ сердце Ины. „Такъ скоро разстаться съ нимъ?“

— Господа, я извиняюсь; Женя, Ната, ведите гостей къ шести домой. Въ шесть ровно будемъ обѣдать! А меня простите, сейчасъ я должна исчезнуть на часъ и, избѣгая пронизывающаго ее взгляда Нераева, Лерская почти бѣгомъ бѣжитъ навстрѣчу нѣмкѣ.

* *
*

Солнце давно зашло за верхушки сосенъ, и озеро стало темнымъ и таинственно-мрачнымъ, какъ чей-то угрюмый, огромный глазъ, темно-синее, какъ сапфиръ, въ эту вечернюю пору.

По берегу его шли Ина и Клочевскій.

Вернувшись съ пикника домой, она жадно пробѣжала его записку. Онъ просилъ ее придти проститься съ нимъ, такъ какъ завтра долженъ былъ уѣхать.

Гости, между тѣмъ, послѣ обѣда и не думали разъѣзжаться; рѣшено было всею гурьбою отправиться въ курортъ.

Ина томилась. Какъ объяснить свое отсутствіе Евгенію? До другихъ ей было безразлично... Что ей до нихъ? Они чужіе!.. Даже милая, уравновѣшенная, серьезная Раиса, и та не понимаетъ ея, любитъ и не понимаетъ въ одно и то же время.

Клочевскій обѣщалъ ждать на берегу озера, какъ всегда, и Лерская, какъ дѣвочка-гимназистка, обманувъ всѣхъ, наговоривъ кучу всякихъ несуразностей, помчалась къ нему, забывъ весь міръ.

— Итакъ, завтра?—спросила она его въ первое же мгновенье встрѣчи.

— Да, милая птичурка, завтра... Вызвалъ тебя проститься.

— Надолго?—упавшимъ голосомъ роняла Ина.

— На три недѣли всего.

— Пиши, Данька, пиши!

— Конечно, птичурка, дорогая!

— Данька, я прошу тебя серьезно.

— Ну, разумѣется!.. и просить не надо. Мнѣ необходимо самому привѣтствовать свою богиню съ дороги. Придется недѣлю плыть Волгой. Отдохну отъ своихъ построекъ, посвѣжѣю душою и тѣломъ, буду думать

о моей птичуркѣ... все время, благо этого свободнаго времени у меня будетъ немало. Буду перебирать всѣ малѣйшіе эпизоды послѣдняго года счастья, нашего безумно остраго счастья. Ты вообрази себѣ только: Волга, огромный плавучій домъ-пароходъ, всѣ удобства и моя богиня Иночка и въ мысляхъ, и въ душѣ, и въ сердцѣ.

— О, говори, говори такъ, мнѣ это необходимо, какъ воздухъ! — пролепетала Ина, упиваясь его присутствіемъ, какъ курильщикъ гашишемъ, и тутъ же робко, чуть слышно добавила, опуская глаза:—почему-то мнѣ кажется, Данька, но эта поѣздка принесетъ горе мнѣ и нашей любви; намъ обоимъ.

Дѣйствительно, этотъ отъѣздъ тревожилъ ее какой-то смутной тревогой. И раньше имъ приходилось разставаться на вдвое болѣе продолжительный срокъ, а она не принимала этого такъ близко къ сердцу, а теперь же почему-то глухая тоска грызла ея душу.

— Ну, опять мы принялись за свое фантазерство?— засмѣялся Клочевскій съ чуть уловимымъ раздраженіемъ въ тонѣ.—Лучше, птичурка, покатаемся въ лодкѣ, тряхнемъ стариной.

Инѣ хотѣлось сказать ему, что тамъ, дома, ее ждутъ, и среди нихъ — человѣкъ, живущій ею, исключительно ею, что онъ мечется, какъ звѣрь въ клѣткѣ, по палисаднику ея дачи, а его сердце разрывается отъ ревности, подозрѣній и тоски.

„Ахъ, эта мука невыносима, пусть ужъ лучше будетъ конецъ!“—рѣшила Лерская и, охваченная дрожью

при одной мысли о терзавшемся Евгеніи, сказала Даніилу:

— Хочешь, я оставлю Нераева... кончу все, сразу, возьму свое слово назадъ. Буду свободна, какъ птица, и отдамся безъ помѣхи нашей любви... только любви...

— Богъ съ тобой, птичурка!.. что ты говоришь? Лишиться такого друга?

— А какъ же потомъ?.. — начала Лерская и сразу осѣклась.

Что-то снова стало рваться въ ея груди, новая боль разочарованія наполнила душу.

Клочевскій молчалъ, иронически поглядывая на нее.

— Да,—сказала Ина черезъ минуту, овладѣвъ собою,—убить его нельзя... Пусть кончаетъ университетъ, выходитъ въ люди... тогда...

— Бросимъ всѣ эти мелкія заботы, Иночка, и будемъ служить нашему богу любви, птичурка, на лонѣ природы... въ нашемъ храмѣ, да?

Развѣ она могла устоять? Глаза ястреба пили всю ея волю, а это красивое, снова охваченное облакомъ страсти лицо говорило о безднѣ новыхъ сладкихъ переживаній.

Черезъ нѣсколько минутъ они были на водѣ. Камыши непроницаемой, живой стѣной встали вокругъ нихъ таинственно шепчущимъ лѣсомъ, гдѣ-то сладко тосковалъ соловей, и лукаво-одобрительно улыбалась луна среди фантастическихъ облачныхъ горъ, на далекомъ небѣ.

Но Инѣ опять чудилась тоненькая, въ бѣломъ сту-

денческомъ кителѣ фигура, нервными шагами измѣряющая пространство дачнаго садика.

Часа чарезъ два Клочевскій доставилъ ее, любящую, какъ никогда, въ этотъ часъ разлуки, на пристань.

— Еще разъ прошу—пиши!—сказала ему на прощаніе Ина.—Твои письма—моя жизнь, когда тебя нѣтъ со мной.

— Милая! Да развѣ я самъ могу прожить безъ этого? Ну, птичурочка, до свиданія! Не фантазируй, моя крошка!.. Три недѣли промчатся, какъ сонъ!—и послѣдній прощальный поцѣлуй обжегъ губы Лерской.

V.

Дѣла „Свѣтлаго Вѣстника“ шли все хуже и хуже. Появился новый конкурентъ, народился новый журналъ „Вѣстникъ Свѣта“ и часть подписчиковъ перешла къ нему. Большая часть прежнихъ восторженныхъ поклонниковъ-читателей органа перекочевала въ другой. Число требованій розничной продажи уменьшалось съ каждымъ днемъ, а подписчиковъ въ послѣдніе годы убавилось настолько, что Бакуровъ, возложивъ все упованіе на розничный расходъ номеровъ газеты, давно пересталъ считаться съ ними, какъ съ вѣрнымъ источникомъ прихода. Никакіе зажигательные, на злобу дня, фельетоны, полные самаго ядовитаго протеста и сарказма, уже не могли поправить дѣло.

— Мода, что прикажешь дѣлать, проклятая мода и здѣсь!—звѣрски ероша свою львиную гриву, притупленный послѣдними неудачами, резюмировалъ положеніе

дѣлъ Бакуровъ, по своему обыкновенію, бѣгая по кабинету, какъ левъ въ клѣткѣ. Онъ уже усталъ волноваться, перегорѣлъ.

Дѣло изданія шло тихимъ, но твердымъ шагомъ къ могилѣ. Это могли замѣтить всѣ окружающіе Бакурова и онъ самъ. Только Ивановичъ продолжалъ держаться прежнихъ оптимистически-восторженныхъ взглядовъ и одинъ вѣровалъ въ несуществующую счастливую звѣзду ожиданія.

— Да что, вы извѣрились, что ли, въ молодежь? Да она одна насъ на своихъ плечахъ вынесетъ... Теперь, видите ли, репрессіи разныя въ академическихъ вопросахъ отвлекаютъ ихъ вниманіе отъ политики, а вотъ встряхнутся, оперятся немного, окунутся въ прежнее золотое былое и опять возродится нашъ послѣдній могиканъ,—говорилъ онъ и на редакціонныхъ засѣданіяхъ, и въ интимныхъ бесѣдахъ съ ближайшими сотрудниками и друзьями.

Между тѣмъ касса „Свѣтлаго Вѣстника“ понемногу пустѣла. Значительно сократился и составъ служащихъ, а тѣ, кто остались, ходили раздраженные, потерянные, въ ожиданіи скорой ликвидаціи дѣла.

— Чертъ знаетъ, до чего я завидую всѣмъ этимъ консервативнымъ органамъ!—часто говорилъ Бакуровъ:—ихъ настоящее обезпечено... Господа положенія, что и говорить!

— Калифы на часъ!—нервно возражала Ина.

— Разумѣется, разумѣется,—поддерживалъ ее Ивановичъ,—общественное настроеніе—это море: то прильетъ, то отхлынетъ его бурный валъ. Сейчасъ штиль, но какое-

нибудь легкое отступленіе со стороны торжествующихъ побѣдителей—и опять высоко поднимутся насильно пригнутыя головы, и опять...

— Подите вы со своимъ ораторствомъ!.. Когда еще что будетъ, а вотъ за бумагу платить надо и въ типографію тоже,—снова закипалъ Бакуровъ.

— Кирочка, не такъ экспансивно, и беѣъ того тошно!—останавливала его Лерская.

— Поневолѣ аффектируешься, когда глотку рѣжутъ. Будь я капиталистомъ, о! — и Бакуровъ запустилъ обѣ руки въ свою растрепанную голову.—Когда нашъ органъ только зачался, — началъ онъ черезъ минуту уже спокойнѣе,—мы, наше былое товарищество, нѣсколько человѣкъ, были воодушевлены одной идеей поддержать и развить эксцессъ, овладѣвшій въ то счастливое время молодежью, развить ея борьбу за право, раздуть это молодое пламя и достичь голосомъ печати того апогея торжества горсти сильныхъ надъ милльономъ слабыхъ, какого еще не достигала до сихъ поръ воплотившаяся въ дѣлѣ борьба. У насъ не было денегъ, зато были руки. „Свѣтлый Вѣстникъ“, издаваемый моимъ предшественникомъ еще до дней свободъ, уже носилъ ея зачатки въ своемъ чревѣ... Лѣтъ девять тому назадъ... помните, Ина Михайловна,—обратился онъ къ Лерской,—помните, вы пришли тогда къ намъ? Я былъ редакторомъ въ то счастливое время. Ваша первая статья, тогда еще такая невинная въ сравненіи съ теперешнимъ голосомъ публицистики... но какой фейерверкъ! Ахъ, Ина Михайловна, почему вы не пишете больше такихъ статей?

— Умеръ талантъ,—скорбно улыбнулась Ина.

— Вздоръ!—подхватилъ Ивановичъ,—талантъ вѣченъ и безсмертенъ, какъ нирвана, просто вы выдохлись, потому что потеряли вѣру въ себя, въ людей, въ грядущее движеніе, послѣднее, фатальное „быть или не быть“. А главное—вы помельчали, затемнили себѣ горизонты. Все и вся сводится къ одному: къ деньгамъ, ради денегъ и для денегъ. А между тѣмъ міръ прекрасенъ и безъ нихъ, и если бы люди...

— Будетъ!.. довольно, Петръ Михайловичъ! До тѣхъ поръ, пока существуетъ эквивалентъ цѣнности, только и работаютъ люди. Увы! это такъ! Восторженными гипотезами о будущемъ міра, лишеннаго золотой, серебряной и бумажной валюты, не уменьшить у людей сознанія всей необходимости ихъ. Вотъ это-то и ужасно, что все сводится къ золотому Ваалу и ради него, и во имя его рушатся и правда, и честь, и даже свобода, такая нужная и дорогая въ нашъ вѣкъ!—пылко заявилъ Бакуровъ.

— Ивановичъ,—получасомъ позднѣе говорила Ина, когда они остались одни,—дорогой, добрый, славный, скажите: вы твердо вѣрите въ то, что говорили сейчасъ, вы вѣрите въ то, что талантъ не умираетъ подъ вліяніемъ житейскихъ будень?

Старикъ посмотрѣлъ на нее серьезнымъ, правдивымъ взглядомъ и произнесъ вдумчиво:

— Въ вашъ талантъ я вѣрю, твердо вѣрю, Ина Михайловна, и если сейчасъ вы не работаете съ прежнимъ жаромъ, какъ раньше, то это—временное затишье,

предъ бурей—и только. Вѣрьте моему слову, слову стараго ремесленника пера. Во всемъ должно быть счастье—и въ жизни, и въ литературѣ, и, какъ ни странно покажется вамъ то, что я сейчасъ скажу, но счастье творчества и обыкновенное человѣческое счастье не уживаются вмѣстѣ. Талантъ литератора, по моему мнѣнію, если онъ не является результатомъ наслѣдственности, воспитывается на рядѣ житейскихъ бурь и невзгодъ. Это—роскошный цвѣтокъ, вскормленный на почвѣ долгихъ и острыхъ разочарованій, ударовъ судьбы и незамѣнимыхъ утратъ. Его вскармливаетъ и вспаиваетъ страданье. Взгляните вокругъ себя. Какъ мало истинныхъ талантовъ въ средѣ буржуазно-сытыхъ, довольныхъ и спокойно-настроенныхъ людей! Или же надо родиться геніемъ, а геніи рѣдки...

— Пожалуй вы правы, но... въ такомъ случаѣ я предпочитаю блеску славы самую мирную, тихую, буржуазную жизнь, — съ печальной улыбкой промолвила Ина.

* * *

Августъ шелъ все впередъ легкими, чуть слышными шагами. Едва замѣтно желтѣли листья, сочно наливались красныя рябины въ садахъ.

Ина сидѣла за письменнымъ столомъ, въ своемъ дачномъ мезонинѣ, и набрасывала строку за строкой. Сколько такихъ строкъ уже было написано ея твердымъ, крупнымъ почеркомъ!

Задумавъ новый романъ, еще въ далекомъ богем-

скомъ курортѣ, она тщательно вынашивала идею его весь этотъ послѣдній мѣсяцъ и теперь воплощала ее въ образахъ. Въ редакціи у нея былъ выговоренъ отпускъ до конца августа; она заѣзжала туда изрѣдка—раза два въ недѣлю, чтобы потолковать съ Бакуровымъ; всѣ корректуры ей присылали на дачу.

Ина писала. Знакомый приливъ творческаго захвата волновалъ ее. Она чувствовала, какъ горячія волны хмѣльного опьяненія отъ новыхъ идей и образовъ, положеній и картинъ то приливали къ головѣ и сладко тревожили мысли, то отхлыневали къ сердцу и горячимъ, ничѣмъ не сдерживаемымъ прибоемъ ударяли въ него. Творческій огонь бѣжалъ по жиламъ, усиленно дышала грудь. Какъ давно она такъ не писала, такъ до одури, до самозабвенія!

Точка. Короткій отдыхъ.

Ина машинально взглянула помутившимся, еще пьянымъ отъ возбужденія взоромъ въ окно. Было свѣжо, воздухъ дышалъ началомъ осени. Желтѣли деревья, прозрачнѣе, студенистѣй становилась вода, и море поднимало свой голосъ все громче, все слышнѣе; августовскіе вѣтры сильнѣе колебали его спокойную тишь.

Мысль невольно перескочила на другое:

„Почему нѣтъ писемъ? Почему не пишетъ онъ, далекій, милый, свѣтлоокій лѣсной богъ?“

Она посылала ему ежедневно полныя тревоги страницы, въ нихъ была цѣлая поэма любви, а отвѣтъ все еще не приходитъ. Между тѣмъ Клочевскій долженъ былъ получать ихъ: она точно распредѣлила ихъ адреса

по пути его слѣдованія и на всѣ короткіе пункты остановокъ посылала еще по письму. Ихъ уже было отослано такъ много! Такъ почему же онъ не отвѣчалъ?

„Пресытился? забылъ? разлюбилъ, быть можетъ?“— Ина при одной этой мысли вздрогнула всѣмъ тѣломъ.— Невозможно! Такъ скоро? Послѣ всего того, что между нами произошло?“

Но писемъ все-таки не было, а безъ нихъ не было и жизни и смысла ея.

Лерская забывалась только въ минуты творчества, когда ее бурно подхватывала и уносила любимая стихія.

Два раза въ недѣлю пріѣзжалъ Евгеній, тревожно заглядывалъ вопросительными глазами ей въ лицо и не могъ не замѣтить ея вымученнаго вида, ея печали. Объ ихъ свадьбѣ уже не было рѣчи. Нераевъ видѣлъ, какъ таяла Ина съ каждымъ днемъ, какъ подолгу сидѣла задумчивая, молчаливая, не видя никого и ничего. И тоска наросла на черной накипью въ душахъ обоихъ, отвратительная, больная тоска...

* * *

Писемъ все не было. Ина написала послѣднее своему Данькѣ. Больше у нея не хватало силъ. И работать также не было силъ—всѣ ихъ унесла съ собой эта огромная, какъ осенняя ночь, сумрачная тоска. Не было сна, не было забвенія. Тревога росла съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ, съ каждой минутой.

„Что съ нимъ? Не погибъ ли онъ? здоровъ ли? Все можетъ быть! Все!“

Лерская схватила въ послѣдній разъ перо и стала писать, вся заливаясь румянцемъ оскорбленнаго самолюбія и смущенная.

„Данька, знай, что бы ни было, дорогой, любимый, заранѣе прощаю все... Только живи, Данька! Живи! будь здоровъ, будь счастливъ! Другая женщина попалась на пути, можетъ быть? И это, и это пустое!.. Легкое увлеченье, пусть. Но ты мнѣ разскажешь о немъ, не правда ли? Моя любовь такъ огромна, Данька, въ ней—всепрощеніе. Мы же—не люди, и наше чувство, продиктованное намъ самими небесами, должно превысить всю эту мелочь жизни, заглушить земные голоса. Итакъ, скажи правду, скажи, Данька!.. И, желанный, любимый, я забуду все и прощу! Вѣрь мнѣ! Все это, пойми,—мелочь жизни, лишь бы ты былъ живъ, здоровъ и вернулся ко мнѣ, другъ мой, жрецъ мой, цѣвецъ небесныхъ пѣсенъ!“

Ина побѣжала сама опустить письмо въ кружку, а затѣмъ, какъ на крыльяхъ, понеслась на озеро. Тутъ они встрѣчались такъ часто, отсюда уплывали на лодкѣ, отъ этого самаго берега. О, какъ онъ сейчасъ былъ пустыненъ! Осень!.. Сырость. Молчитъ берегъ, молчитъ вода. Въ лѣсъ, въ лѣсъ скорѣе!.. На маленькой скамьѣ у обрыва, здѣсь они также сходились въ лунныя лѣтнія ночи и въ теплые ясные дни. Здѣсь Данька цѣловалъ ее такъ нѣжно и страстно, здѣсь баюкалъ, какъ ребенка, на своихъ сильныхъ рукахъ, здѣсь сжималъ ея тонкое тѣло тѣснымъ кольцомъ объятій, здѣсь онъ говорилъ о своей любви.

О любви!

„Гдѣ она, эта любовь? Гдѣ ты, Данька? Куда ты скрылся, зачѣмъ ушелъ такъ далеко? Откликнись, желанный, отзовись!“

Иногда набѣгалъ острый приливъ отчаянія; Ина бросалась къ соснамъ, охватывала ихъ стволы тоненькими руками и, прильнувъ лицомъ къ шершавой корѣ деревьевъ, стонала, какъ раненая, глухо и протяжно:

— Гдѣ ты? Что съ тобой? Люблю тебя, люблю!

Завязая по щиколку въ зыбучихъ пескахъ дюнъ, она шла по огромной песчаной котловинѣ, гдѣ столько разъ ходила съ Клочевскимъ. Каждый кустикъ, каждое деревцо напоминали о немъ такъ настойчиво, такъ властно. И опять рвались стоны изъ глубины души, и обливалось сердце страхомъ за него, за его жизнь, за возможность случайной, ненужной гибели. Заполнялось страхомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ жгучей любовью.

Писать Ина уже не могла. Цвѣтокъ творчества, едва расцвѣтшій, поблекъ. Искусство ревниво: оно требуетъ на свой алтарь всѣ силы безъ остатка и мириться съ другимъ чувствомъ, не отданнымъ ему во власть, не станетъ никогда.

За завтракомъ и обѣдомъ, когда глазенки Наты смотрѣли на нее пристальнымъ, полнымъ участія взглядомъ, Лерской казалось, что вотъ-вотъ она изойдетъ слезами и, грохнувшись о земь, завоетъ волчицей на весь міръ. И, дѣлая надъ собою усиліе, она ласкала дѣвочку:

— Ничего, ничего, успокойся, моя птичка!—говорила она въ отвѣтъ вопрошающимъ дѣтскимъ глазамъ:—видишь ли, дѣла редакціи пошатнулись немного, намъ бу-

детъ временно труднѣй. Ну, да Богъ милостивъ: вотъ кончу романъ, продамъ и кутнемъ съ тобой, крошка... На Иматру поѣдемъ, да?!

Дѣвочка, чуткимъ сердечкомъ маленькаго человѣка угадывая горе матери, не разспрашивала ни о чемъ, цѣловала мать и уходила, полная невыразимой словами любви и жалости.

Страшнѣе всего глодала тоска по ночамъ. Какъ призраки, выростали сомнѣнія, больные, сѣрые кошмары грызли безъ конца.

— Живъ или разлюбилъ? О, пусть ужъ лучше послѣднее!—шептала Лерская, судорожно впиваясь зубами въ подушку, чтобы заглушить рыданія, подступавшія къ груди.

Убійственно медленно тянулись ночи безъ сна, мучительныя, долгія, какъ вѣчность, безсонныя ночи вплоть до солнечнаго восхода или до сѣраго разсвѣта августовскихъ пасмурныхъ дней. И опять этотъ лѣсъ, безстрастный и молчаливый, принимавшій вопли отчаянія и крикъ изступленной, обиженной, страдающей любви...

* * *

— Я ненавижу, проклинаю твоего Клочевскаго,— сказала Раиса, пріѣхавшая какъ-то къ Инѣ.—Это— дерево, холодный, черствый эгоистъ. Еще нѣсколько дней, и твой „жрецъ“ уморитъ тебя, понимаешь? А между тѣмъ самъ онъ въ это время преспокойно вдыхаетъ волжскій воздухъ и флиртуетъ съ хорошенькими попутчицами на пароходѣ.

— Рая! Рая! Что ты? Дорогая моя! Онъ боленъ!— полнымъ отчаянія голосомъ запротестовала Лерская.

— Какъ бы не такъ! Животное этакое! не умѣетъ цѣнить такую женщину, какъ ты!.. Да онъ пальчика твоего не стоитъ, ни одной слезинки твоей, родная моя!

— Раиса!

— Знаю, что Раиса! То-есть чертъ знаетъ, какъ мнѣ противенъ этотъ напыщенный, самодовольный фатъ! Фразеръ, безъ тѣни искренняго чувства!

— Послушай, Рая: если ты не хочешь, чтобы я была дурного мнѣнія о тебѣ, молчи. Умѣй уважать чужую святыню,—заявила Лерская, повидимому спокойно, но цѣлый міръ отчаянія глядѣлъ изъ ея вымученныхъ глазъ.

Въ этотъ вечеръ подруги разошлись, впервые недовольныя другъ другомъ.

V.

Письмо!

Инѣ показалось, что румяное лицо Эммы плыветъ гдѣ-то далеко-далеко въ туманѣ, а бѣлый конвертъ, положенный предъ нею на столъ, тоже уплываетъ вмѣстѣ съ нимъ. Пошатываясь, какъ пьяная, она опустилась на первый попавшійся стулъ посреди комнаты.

Хорошо еще, что тутъ не было Наты и Евгенія. Пользуясь ясной погодой, они уѣхали кататься на озеро. Къ счастью, никто не былъ свидѣтелемъ бурно охватившаго Ину прилива счастья при видѣ знакомаго

почерка, знакомыхъ буквъ. У Эммы лицо было непроницаемо, какъ маска, когда она ушла, вручивъ Лерской письмо.

Схвативъ его жадно, какъ скупецъ свое сокровище, Ина нѣсколько разъ подрядъ поцѣловала дорогой конвертикъ. Вскрыла его и стала жадно читать.

Что это? Строки начали мѣшаться, сливаться и, точно подернутыя туманомъ, убѣгать вдаль. Инѣ казалось теперь, что въ бѣлой прохладной комнатѣ стало ужасно мало воздуха и свѣта. Она выбѣжала на балконъ и тамъ снова принялась за письмо, но опять ничего въ немъ не понимала. Тяжелые молоты ударяли въ виски, сердце замирало, холодѣли пальцы. Не вѣрилось какъ-то зрѣнію, глазамъ.

И это онъ, онъ, ея богъ, ея лѣсной фавнъ, могъ написать все это! Если бы онъ увлекся тамъ, вдали отъ нея, если бы полюбилъ другую и подъ впечатлѣніемъ этой любви искренно и честно сознался Инѣ, ударъ не былъ бы такъ чувствителенъ для нея. Но эти пошлыя, фальшивыя, что-то тщательно маскирующія строки, написанныя какъ будто совсѣмъ другимъ и незнакомымъ ей, Лерской, новымъ существомъ, заставили сотрястись ея душу. Тщательное описаніе волжскаго парохода, какого-то семейства попутчиковъ съ хорошенькой дочерью-дѣвицей, жалобы на скуку въ фривольно-игривомъ тонѣ—вотъ чѣмъ было полно письмо. И ни одного ласкательнаго слова, ни одной чуткой строки по адресу ея, Ины, ни однаго объясненія по поводу долгаго молчанія, ни однаго!.. Все было написано какъ будто по

обязанности, черезъ силу, чтобы лишь какъ-нибудь заполнить три неизбѣжныя страницы.

Лерская прочла письмо два, три и четыре раза, и все та же пошлость, тотъ же фатовато-небрежный тонъ сквозили изъ каждой его строки. Обливаясь холоднымъ потомъ, она силилась отыскать хоть намекъ на чувство къ ней обожаемаго существа. Увы! все было напрасно.

И подавленная, обезсиленная, сраженная Лерская опустилась на стулъ.

„Вотъ оно, возмездіе за Евгенія, вотъ развязка!“— вихремъ пронеслась жуткая мысль.

Съ блуждающимъ взоромъ и опустѣвшей душой Ина словно застыла. Попрежнему льнули къ окнамъ зеленыя сосны, попрежнему играли солнечные блики на бѣлыхъ стѣнахъ, но въ нихъ уже не было жизни, не было радости. Или такъ только казалось Лерской? Съ жалобнымъ звономъ рвались въ душѣ пѣвучія струны, умирало что-то большое и прекрасное въ груди. Сердце холодѣло; казалось, большой и сѣрый камень насильно втиснули въ него.

Солнце постепенно скрылось. Громче зашумѣли зеленыя сосны, зловѣще закружилъ вѣтеръ опавшіе листья въ саду, а Лерская все сидѣла, неподвижная, какъ статуя отчаянія съ тою же огромною давящей тоской въ сердцѣ. Забывъ о времени, работѣ, обо всемъ въ мірѣ, она вся отдалась нахлынувшему на нее тягостному чувству потрясающаго разочарованія. Вспоминались пророчества Навѣтовой, Шура...

„О, какъ они правы, какъ были правы они!“

Уже легкія августовскія сумерки упали на землю, когда Ина опомнилась, встала со своего мѣста, кликнула Эмму:

— Что же обѣдать? Зовите нашихъ!

— Но ни Евгенія Александровича, ни Наты еще нѣтъ,—своимъ вѣчно обиженнымъ тономъ отвѣчала гувернантка.

— Какъ?

— Они еще не вернулись!

— Боже мой!.. но когда же они уѣхали?

— Въ два часа.

— А сейчасъ шесть! Что же вы молчали?

— Но вы были заняты чѣмъ-то! Я не могла войти безъ зова.

— Они на озерѣ?

— Не можетъ быть. Говорятъ, тамъ сильная буря. Дачный хозяинъ вернулся съ охоты, говоритъ, ужасъ что такое происходитъ на озерѣ сейчасъ. Евгеній Александровичъ не повезетъ Наты въ такую погоду.

Вся кровь при этихъ словахъ отхлынула отъ лица Лерской. Болѣзненно остро прорѣзала мозгъ внезапная мысль:

„Что, если буря застала ихъ въ пути, что, если?...

— Они тамъ, Эмма!—вырвалось у нея почти крикомъ и, не дожидаясь отвѣта, она стремительно побѣжала за дверь.

Едва касаясь ногами земли, мчалась Ина по тяжелымъ пескамъ, по влажнымъ отъ вчерашняго дождя улицамъ туда, къ озеру, на пристань, къ лодкамъ. Что-то говорило ея душѣ:

„Они тамъ... они оба тамъ, оба милые, дорогіе!“

О недавнихъ переживаніяхъ обманутой святыни не было и помина въ душѣ Лерской. Всѣ чувства сбились въ сторону, очищая путь одному, доходящему до исполинскихъ размѣровъ, страху за жизнь дорогихъ существъ.

Ина едва не задохнулась отъ быстраго бѣга, пока домчалась до берега. Что такое? Зачѣмъ здѣсь такая толпа? И мѣстные жители, и дачники, и рыбаки, и полиція—всѣ столпились у лодокъ.

— Что случилось?—и, произнося дрожащимъ голосомъ этотъ вопросъ, Лерская предугадывала отвѣтъ на него, страшный, зловѣщій отвѣтъ, инстинктомъ сердца предчувствуя его. И въ ея мѣловомъ, безъ кровинки лицѣ, отупѣвшемъ отъ огромнаго, нечеловѣческаго страха, горѣли, какъ двѣ свѣчи, обезумѣвшіе глаза.

Должно быть, эти глаза смутили полицейскаго, пропустившаго ее къ самому берегу, гдѣ было меньше народа.

— Да говорите же, что случилось?—почти закричала Ина въ лицо какому-то стоявшему ближе всего къ ней господину.

— Какіе-то дачники—дѣвочка и студентъ—поѣхали часа четыре тому назадъ еще до волненія, кататься въ лодкѣ и еще не возвращались. Видѣли, какъ трепало ихъ лодку во время бури. Сейчасъ къ нимъ на помощь отправились рыбаки.

— Дѣвочка и студентъ!—машинально уронили губы Лерской, и она пошатываясь, какъ пьяная, спустилась къ самой водѣ.

— Куда вы? Туда нельзя, упадете!

Кругомъ шумѣло и злилось озеро; прыгали у пристани утлыя лодченки. А тамъ, дальше, волны кипѣли и пѣнились, похожія на огромныхъ разъяренныхъ бѣлыхъ звѣрей.

— Пустите меня къ нимъ! Лодку... Я ѣду!—стонами сорвались слова съ похолодѣвшихъ губъ Ины.

— Сударыня, нельзя. За ними уже рыбаки отправились... Богъ милостивъ. Можетъ быть, не утонули,— послышались ей, какъ во снѣ, соболѣзнующіе голоса.

А кругомъ легкимъ шепотомъ проносились въ толпѣ отрывистыя фразы:

— Да это—Лерская!

— Бѣдняжка, лица нѣтъ!

— Дочь, говорятъ, на озерѣ. Лодку, должно быть, перевернуло!

— Тогда капутъ!

— Утонули, по всей вѣроятности!

— Можетъ быть, спаслись? Рыбаки скоро вернутся, тогда узнаемъ.

Ина слушала и не слышала соболѣзнующаго шепота человѣческихъ голосовъ. Вся ея душа перелилась въ зрѣніе. Лихорадочно безумнымъ огнемъ отчаянія горящіе глаза впивались въ даль. Мыслей не было, чувствъ тоже. Черный кошмаръ, какъ звѣрь, цѣпкими лапами охватилъ все ея существо, и среди этого хаоса горѣла только одна сознательная мысль:

„Если они не вернутся, туда же за ними, не медля ни минуты, въ темную пучину клокочущихъ водъ“.

Вѣтеръ рвалъ одежды зрителей, заглушалъ человѣче-

скіе голоса, свирѣпо ревѣли волны, и все-таки этотъ хаосъ звуковъ не могъ заглушить торжествующій крикъ, вырвавшійся изъ самаго сердца толпы:

— Плывутъ! Плывутъ! рыбаки плывутъ обратно!

Теперь душа Ины замерла какъ раненая птица, сердце точно прекратило свое біеніе. Оно застыло въ мучительной агоніи трепетнаго ожиданія. Глаза заволоклись туманомъ и почти не видѣли ничего.

— Лодку... лодку за собою тащатъ!—сказалъ кто-то на берегу.

Крикъ отчаянья вырвался изъ горла Ины и, однимъ прыжкомъ соскочивъ на мостки пристани, залитые водой, она опять стала напряженно смотрѣть вдаль, до боли въ глазахъ, до рѣзи...

Кто-то схватилъ ее за руку и крѣпко держалъ, кто-то говорилъ, успокаивалъ. Но Ина не чувствовала, не слышала ничего.

Ближе, ближе подплывала надежная, большая рыбацкая финская сойма, за ней—другая. Какъ огромныя чайки ныряли онѣ, лавируя среди расходившихся волнъ. Еще ближе, еще... Теперь Ина уже могла разглядѣть среди сидѣвшихъ въ нихъ большихъ мужскихъ фигуръ маленькую, хрупкую и безконечно ей дорогую.

— Ната! Дѣточка моя!—счастливымъ звукомъ вырвалось изъ груди Лерской.

— Мамочка! Мама! — заглушенное стономъ бури, зазвенѣло въ отвѣтъ.

Еще нѣсколько десятковъ сверхчеловѣческихъ усилій—и лодка подплыла къ берегу.

Не помня себя, въ какомъ-то изступленіи Ина кинулась къ ней. Ната, ея дорогая дѣвочка, была здѣсь, цѣла и невредима, и у нея на груди... Но онъ? Гдѣ же онъ, ея другъ, ея братъ, ея рыцарь? Глаза Лерской бродили по лицамъ рыбаковъ — Нераева не было среди нихъ.

— Гдѣ?—воплемъ вырвалось у женщины и огромное, давящее отчаяніе снова разрослось въ ея груди, словно отвратительное чудовище ворвалось ей въ сердце и желѣзными когтями рвало его. Готовая потерять сознаніе, Лерская протянула руки къ озеру и крикнула:— Гдѣ Женя? гдѣ Женя? Женя!

Потомъ судорожно обвила прильнувшую къ ней Нату, а глаза искали того, кого не было съ ними сейчасъ.

Въ эту томительную минуту Лерской казалось, что въ томъ погибшемъ заключенъ для нея весь міръ, весь большой міръ...

— Успокойся, мамочка, дядя Женя живъ. Онъ въ другой лодкѣ! Живъ, мамочка, живъ! — и трепещущія рученки Наты судорожно обвили тонкую талію матери.

— О!

Въ этомъ „о“ была цѣлая гамма разнородныхъ ощущеній, а въ просвѣтлѣвшихъ глазахъ—цѣлое море любви!

А когда Евгеній, смущенный и взволнованный, выпрыгнулъ на залитые мостки изъ второй подоспѣвшей лодки, сбивчиво принося свои извиненія и оправдываясь неожиданной перемѣной погоды, заставшей ихъ въ пути, Ина не дала ему договорить. Огромная радость заполнила ей душу, она чувствовала лишь одно: что бы ни

было, этотъ человѣкъ безконечно дорогъ ей, и послѣ своей Наты она любитъ его безконечно, его одного! „То“ недавнее уплыло въ какой-то туманъ далеко-далеко, и на обломкахъ разрушеннаго храма зародилось новое чувство, омытое страданіемъ и страхомъ за жизнь дорогого существа.

VII.

— Мой милый, дорогой Листикъ, какъ это случилось?—воскликнулъ Евгеній.—Родная, вѣрю и боюсь вѣрить! Мальчикъ безцѣнный, за что ты такъ полюбила меня?

Голосъ Нераева дрожалъ и рвался.

Въ маленькой гостиной городской квартиры Лерской была тишина. Мягко и пріятно горѣла лампа подъ зеленымъ абажуромъ, пахло цвѣтами, наполнявшими вазы на столахъ. Въ дѣтской, сосѣдней съ гостиной, спала Ната. Эмма возилась у себя въ комнатѣ за стѣной. Нераевъ и Ина были одни.

— Ласточка моя, наконецъ-то я дождался свѣтлой минуты... дождался любви моего Листика! Онъ мой, всецѣло мой!

Стройная, тонкая фигура Евгенія скользнула съ дивана и очутилась у ногъ Ины на коврѣ. Изъ-подъ темной завѣсы рѣсницъ мерцали его глаза, полные чувства; въ нихъ былъ цѣлый міръ обожанія къ ней.

„Я была безумна—мысленно говорила себѣ въ этотъ мигъ Ина.—Гдѣ были мои глаза? какъ могла я просмотрѣть эту любовь, чистую, какъ небо, прекрасную, вѣчную, красивую и сильную, какъ смерть!“

Она наклонилась къ Нераеву, положила ему на плечи руки, и, зараженная ей самой непонятнымъ волненіемъ, воскликнула:

— Женя, голубчикъ, я и сама не знаю, какъ это началось; тебя я всегда любила, всегда, какъ брата, какъ друга, какъ милое, рыцарски-честное, благородное существо. И раньше, всегда. Но теперешнее острое большое чувство нахлынуло сразу, вдругъ, какъ шквалъ, налетѣло и унесло за собою... Въ ту минуту тамъ, у лодокъ, на пристани, когда надежда увидѣть тебя висѣла на волоскѣ, тогда моя душа всколыхнулась и бурно затрепетала на встрѣчу тебѣ впервые.

— И ты любишь меня?

— Женя! Или ты не видишь этого самъ?

Да, да, онъ видѣлъ! Эти безконечно дорогіе глаза подернутые страстью беззавѣтно любящей женщины, по которой онъ такъ томился всѣ эти послѣднія пять лѣтъ, наконецъ-то...

Слова Ины звучали робко, когда она снова заговорила:

— Я люблю тебя, Женя, люблю, пойми, и дрожу за свое счастье. Послушай, я старше тебя... Что, если когда-либо ты... ты... разлюбишь твоего мальчугана? Не теперь, а послѣ, когда онъ состарится, когда...

— Не мучь меня, Ина, это безбожно,—прервалъ онъ ее,—не говори такъ! Разлюбить тебя?!. Слушай, Листикъ мой, дорогой: моя любовь вѣчна, огромна; она родилась и умретъ со мною. Только разъ въ жизни можно такъ любить, и мы, Нераевы, только такъ любить и умѣемъ—

фатально, до гроба: или жизнь съ любимымъ существомъ, или смерть. Пусть ты состаришься, твои волосы побѣлѣютъ, морщины избороздятъ тѣло, но развѣ состарится твоя молодая душа? та душа, которую и люблю главнымъ образомъ я въ тебѣ! Я не умѣю говорить красивыя фразы тогда, когда вопросъ касается любимой женщины, тебя, мой Листикъ, но, повторяю, наши души переживутъ тѣла и любовь перерастетъ земныя границы и разгорится сильнѣе тогда, когда наши тѣла умрутъ, дорогая!

Евгеній говорилъ безъ пафоса, повидимому спокойно, но его лицо было блѣдно отъ волненія и глаза нестерпимо горѣли. Онъ былъ прекрасенъ въ эту минуту пронизывавшаго его насквозь какъ солнце чувства, и Лерской невольно бросилась въ глаза эта рѣзко выступившая, одухотворенная красота. Ея сердце забилось сильнѣе, горячая волна подхватила и унесла далеко; чуть кружилась голова и отъ аромата цвѣтовъ, и отъ близости этого любящаго чуднаго существа, принадлежавшаго ей всѣми мыслями, всей душою. Ея губы загорѣлись и потянулись къ нему навстрѣчу.

— Поцѣлуй меня, Женя!—прошептала она.

— Ина... милая, не мучь! Я уже сказалъ, что не прикоснусь къ тебѣ до свадьбы. Ждалъ я долго, теперь всего нѣсколько дней осталось ждать. Ты видишь, что и какъ женщина, влечешь ты меня къ себѣ неотразимо, но... подождемъ, Листикъ мой!.. Ты для меня—святыня, небожительница, сошедшая на землю, и взять тебя, не отдавъ тебѣ самаго дорогого послѣ моей любви,—

честнаго имени, я не хочу. Пусть я—педантъ, смѣшной, узкій, но ты должна понять, что я отличаю тебя отъ всѣхъ прочихъ женщинъ, которыхъ имѣлъ, не любя, до этой встрѣчи съ тобою въ моей жизни. Вѣдь въ тебѣ, моя будущая жена, смыслъ всей моей жизни!..

О, какъ дрожали его руки! Какимъ страстнымъ огнемъ пылали глаза! Какая духовная мощь была въ этомъ тонкомъ, изящномъ человѣкѣ! Сколько бѣшенаго, побѣжденнаго нечеловѣческой волей, желанья таилось въ глубинѣ его глазъ... И какъ любила его Ина, какъ любила!..

Когда Евгеній ушелъ, Лерская поспѣшила въ свою спальню и здѣсь выдвинула ящикъ стола... Тамъ были письма, цѣлая пачка новыхъ писемъ, присланныхъ въ послѣдній мѣсяцъ.

„Жрецъ возвратился и зоветъ свою богиню на новый священный пиръ, къ новымъ празднествамъ любви“—пестрѣли страницы пышныхъ фразъ, нанизанныя такъ умѣло одна за другою, холодныя и блестящія, какъ фальшивые камни. О, Ина знала теперь имъ цѣну! Никогда Данька не любилъ ея, никогда!..

Она не отвѣтила на эти письма. Приходили другія.

„Почему нѣтъ отвѣта?—писалъ онъ въ нихъ,—птичурка обидѣлась, разсердилась, капризничаетъ, фантазируетъ опять?“

Фантазируетъ? Она? А то письмо, убившее ея чувство, искалѣчившее все лучшее, что было въ ея душѣ?

На это она молчать не могла и лихорадочно набросала свое страстное обвиненіе Клочевскому, всю

правду, которой онъ былъ достоинъ, и попутно призналась, что она уже не любитъ его. Тогда онъ попросилъ свиданія, одного коротенькаго свиданія... Онъ не привыкъ къ такимъ обвиненіямъ, это наконецъ не порядочно съ ея стороны. Надо дать ему возможность оправдаться; даже самые закоренѣлые преступники имѣютъ на это право, а онъ — не преступникъ предъ нею, онъ ни въ чемъ не виноватъ. Она — капризница, фантазерка; она придралась къ какому-то письму. А вѣдь оно было самое дружественное, съ дороги... Или ей надо было пылкихъ строкъ? Да нельзя же, наконецъ, сюсюкать о любви все время! Или она этого не понимаетъ? Клочевскій такъ и написалъ — „сюсюкать“ о любви!

Со дна души Ины поднялось возмущеніе... О, она пойдетъ къ нему еще разъ и скажетъ... Да скажетъ все, все, все! Чѣмъ она была для него все это время? Рабой, игрушкой, маленькимъ эпизодомъ его жизни! Да! Онъ призывалъ ее только тогда, когда жадно требовала этого его похоть и, облачая эту маленькую, бѣдную по своему содержанію страстишку въ пышныя фразы, подносилъ ее, какъ гимнъ далекихъ небесныхъ служеній. Онъ могъ кощунствовать любовью, онъ могъ! Да, она пойдетъ къ нему и скажетъ ему все это. Въ послѣдній разъ, въ послѣдній разъ! А тамъ навсегда, навѣки, несмотря на свое отвращеніе къ браку, закрѣпитъ себя съ тѣмъ, честнымъ, благороднымъ, истиннымъ рыцаремъ и пѣвцомъ чистой любви...

* *
*

— Новость! Счастливая новость, Ина Михайловна, поздравьте!

— Кирочка, что съ вами? Вы сіяете, какъ женихъ.

— Весьма возможно, ибо заключилъ свой бракъ... съ капиталомъ.

— Выражайтесь точнѣе, Бакуровъ! Я не понимаю васъ. Двѣсти тысячъ не могли же выиграть?

— Деньги, чертъ возьми, намъ на голову свалились, вотъ что! Одинъ добрый парень предлагаетъ за „Свѣтлый Вѣстникъ“ кругленькую сумму, а меня въ компаніи оставляетъ на жалованіи, негласнымъ издателемъ, такъ сказать. Этотъ типъ хочетъ во что бы то ни было снискать себѣ популярность. Писательскихъ способностей у него ни на волосъ, но бредитъ либерализмомъ... Имъ къ тому же, видите ли и поозорничать хочется. Изъ купцовъ они. Папенька у нихъ—крутой парень: выдѣлилъ и обсчиталъ, а направленія самаго архи-чернаго. Ну, такъ сыночекъ во что бы то ни стало ему поперекъ души влѣзть хочетъ. Тятенька въ столовой союзной орудуетъ, а сынокъ ультралиберальную газету издавать будетъ: дескать, знай нашихъ! А что лучше всего, такъ это—то, что весь составъ редакціи и постоянныхъ сотрудниковъ тотъ же остается. Парень глупъ, какъ печка, и имъ надо руководить.

Бакуровъ залпомъ сообщилъ все это. Его не узнать было сегодня: онъ весь словно свѣтился: глаза загорались новыми надеждами. И нервно потирая руки, ероша, какъ никогда, свою пышную шевелюру, онъ метался по редакціонной комнатѣ, какъ левъ.

— Послушайте, да развѣ это не является въ нѣкоторомъ родѣ подлогомъ?—покачала головою Ина.—Вѣдь дѣла „Свѣтлаго Вѣстника“ болѣе чѣмъ плохи. Вѣдь газета въ агоніи...

— Ина Михайловна, она возродится, клянусь вамъ, возродится. Теперь нужны только деньги, а все остальное чепуха. Придется поправѣть немного, безъ этого не обойдется, понятно, прильнуть, такъ сказать, къ духу времени...

— То есть надуть этого кретина, давшаго капиталъ?

— Чертъ знаетъ, что вы говорите! Поправѣемъ незамѣтно, онъ и въ толкъ не возьметъ.

— Тогда измѣна партіи,—холодно блеснувъ глазами, сказала Ина.

— Голубушка, партійныхъ денегъ тамъ не было. „Вѣстникъ“ выросъ и расцвѣлъ на частныхъ капиталахъ. Какая же тутъ измѣна?

— Ахъ, вы объ этомъ, о матеріи! А идеи ни во что не ставите?

— Ну, знаете, когда нѣсколько десятковъ по міру пустить приходится, идею и въ карманъ спрятать можно. Да чего вы отходную-то читаете? Направленіе газеты останется вѣдь то же, какимъ и было, этого и Пыхтинъ, новый издатель, требуетъ, а только оглядки больше будетъ.

— А что Ивановичъ говоритъ?

— То же, что и я. Людей выручать надо въ ущербъ направленію... Да не кукситесь вы ради всего святого!

Смотрѣть тошно!—неожиданно разразился Бакуровъ.—Ну, не нравится вамъ это, никто васъ не привязалъ къ редакціонному столу. Оставайтесь сотрудницей, фельетоны, романы пишите.

— Покорно васъ благодарю!—насмѣшливо поклонилась Ина,—я пиши, а вы мнѣ своей рукой половину, ради этой самой оглядки, марать будете?

— Ну, ужъ и половину!

— Непремѣнно... А впрочемъ, дѣйствительно, изъ двухъ золъ надо выбирать меньшее; хоть люди сыты будутъ.

— Ина Михайловна, вы—ангелъ во плоти! Никому я въ жизни рукъ не цѣловалъ, ни одной женщинѣ, а вамъ поцѣлую, если желаете.

— Нѣтъ, Кирочка, не желаю, успокойтесь.

— На дняхъ въ отдѣльномъ кабинетѣ „Вѣны“ изъ полы въ полу буду продавать новому владѣльцу свои издательскія права. Обѣдъ будетъ. Пріѣдете?

— Можетъ быть! Только меня не грѣшно было бы и пораньше о такихъ важныхъ перемѣнахъ предупредить.

— Да вы вся въ свой романъ ушли! Не достать васъ нынче. Передовицы и то Ивановичу поручаете.

— То-то вы безъ меня все дѣло сварганили!

— Голубушка, иначе бы ликвидація—и зарѣзъ!

— Ну, ну, ну!

— Слышали?—встрѣтила Ину въ корридорѣ сіяющая Маня Щурова.—Пыхтина, богача, „нашъ-то“ къ дѣлу привлекъ... Везетъ Кирочкѣ! За полтора мѣсяца намъ жалованье заплачено. Глазамъ просто не вѣрится! Вѣдь

я съ отчаянія уже хотѣла за Брызгалова замужъ выдти, благо, дуракъ, сватается, и мѣсто ему выклюнуло въ страховомъ обществѣ... Слиться съ нимъ, такъ сказать, двумя возможностями на почвѣ символическаго зарожденія. Да, Богъ миловалъ, спасена!

* * *

Въ отдѣльномъ кабинетѣ, куда собрались нѣсколько представителей редакціоннаго персонала, Ина познакомилась съ Пыхтинымъ. Типичный саврасъ, обнаглѣвшій въ капиталѣ, онъ обѣщалъ мало хорошаго всей своей незамысловатой особой, сорвавшагося съ узды конька. Говорилъ онъ много, безтолково и больше всего о своемъ стремленіи поднять духъ газеты, брызнуть фейерверкомъ свободныхъ идей съ ея страницъ, какъ нѣсколько разъ онъ повторилъ эту фразу. Къ концу обѣда купецъ охмѣлѣлъ отъ шампанскаго и, обнимая поддерживаемаго нервнымъ напряженіемъ Бакурова, сказалъ, покачиваясь на стулѣ:

— Мы—васъ, а вы—насъ. Поддержка круговая: наши капиталы, ваши мудрость и опытъ, а тятенькѣ при такихъ условіяхъ комбинацію изъ трехъ пальцевъ. — Пожалуйте! Они меня съ юности за соціалистическія идеи преслѣдовали. „Ты,—говорилъ онъ,—Антоша, сицилистъ и каторги тебѣ не миновать“,—потому, какъ я очень противъ ихъ черносотенной политики держался. Ну, и обдѣлилъ меня тятенька на законномъ основаніи. А я ему за это—выкуси на!..—Такую бомбу отлилъ: газету, что ни на есть пурпуровую беру на свое попе-

ченіе... И душою и тѣломъ къ ней, во какъ!.. Потому дѣтище пріемное... Ура! За „Свѣтлый Вѣстникъ“ и всякое его дальнѣйшее процвѣтаніе!

Потомъ Пыхтинъ извинялся почему-то, цѣловалъ руки у дамъ и пѣлъ „Gaudeamus“ и марсельезу во всю ширь своихъ здоровенныхъ легкихъ.

Инѣ стало противно. Она незамѣтно исчезла. Впереди предстояла еще болѣе непріятная перспектива: возвращеніе писемъ Клочевскому и послѣднее объясненіе съ нимъ.

VIII.

Въ послѣдній разъ они должны были встрѣтиться на углу Гороховой, противъ Адмиралтейства. Ина шла безъ малѣйшаго волненія на это прощальное свиданіе съ пачкой писемъ въ рукахъ. Ея сердце было спокойно, и только горькій осадокъ за все пережитое поднимался со дна души. Какъ мало похоже было это настроеніе на то, съ которымъ она спѣшила къ своему „Данькѣ“ на свиданія въ послѣдніе полтора года! А между тѣмъ, она еще такъ недавно любила этого человѣка, вѣрила въ него, какъ въ Бога, была полна имъ. Протестъ наросталъ давно. Давно закипали сомнѣнія, но она боролась съ ними, и вотъ этотъ августовскій кошмаръ раскрылъ ей глаза на существо, которое она любила.

Клочевскій оказался чисто внѣшнимъ, неглубокимъ, любящимъ пользоваться благами жизни безъ нравственнаго углубленія въ ея запросы человѣкомъ. Это былъ оптимистъ до конца ногтей, безъ духовныхъ анализовъ,

безъ всякой способности постигать чуткую, впечатлительную душу. Его девизъ—„жизнь дана для наслажденій“ давалъ себя чувствовать во всемъ, и онъ воплощалъ его до малѣйшей возможности точно и пунктуально.

Инѣ вспоминался рядъ фактовъ; назойливо напрашивались мельчайшія подробности прошлаго. Какъ мучительно ревновала она его къ каждой красивой женщинѣ, съ которой онъ встрѣчался!.. О, онъ любилъ женщинъ, оцѣнивалъ ихъ взглядомъ знатока и долгимъ блестящимъ взоромъ провожалъ приглянувшуюся ему на улицѣ хорошенькую фигурку. Часто Ина пріѣзжала на свиданія разбитая житейскими неурядицами, со страстнымъ желаніемъ притулиться къ нему, раздѣлить съ нимъ свои сомнѣнія, всю тяжесть, наваленную на ея худенькія плечи, но онъ отвѣчалъ веселыми шутками, поцѣлуями, а чаще высмѣивалъ ее между страстными ласками здороваго, ненасытнаго самца, упрекая ее въ способности „фантазировать черезъ мѣру“, въ умѣньѣ раздувать муху въ слона. И тутъ же забрасывалъ ее пышными фразами о величіи ихъ любви, о служеніи ей, о жрецахъ неземного культа.

И она могла принимать такую связь за нездѣшнее сліяніе двухъ заоблачныхъ существъ, могла принять за чистый брилліантъ грубую фальсификацію, поддѣлку!..

Ина горько улыбнулась при этой мысли... Какъ слѣпа любовь! Какъ обманута она! Злую шутку подшутилъ злой рокъ надъ нею. Клочевскій не лучше другихъ и не хуже. Это—средній, обыкновенный человѣкъ, съ малосодержательнымъ интеллектомъ, отчасти хитрый

умѣющій скорѣе опытомъ, нежели умомъ, заставить другихъ не замѣчать его пробѣловъ. Если бы ихъ любовь не вспыхнула при несовсѣмъ обыденной обстановкѣ, Ина скорѣе поняла бы этого „пѣвца неба“ и разочаровалась бы въ немъ. Но кулисами ея чувству являлась пышная грудь природы съ ея умопомрачающей красотой, и эта красота, ударивъ въ голову, наполняла все ея существо сладкимъ чадомъ, отстраняя правду отъ нея.

„Слава Богу! что все это кончилось такъ скоро!.. Могло быть хуже... могъ узнать Женя“,—вихремъ пронеслась одна мысль за другой въ ея головѣ, пока она шла по залитому электричествомъ Невскому.

Ей вспомнилась ревнивая фраза Нераева:

„Увижу ли я васъ, Листикъ, въ самой интимной обстановкѣ, въ спальнѣ съ другимъ мужчиной, или замѣчу васъ провожаемой кѣмъ бы то ни было постороннимъ, за исключеніемъ нашихъ общихъ знакомыхъ и друзей,—для меня будетъ одинъ и тотъ же результатъ. Я убѣжденъ, что мой мальчикъ не станетъ тратить время на того, кто ему безразличенъ. И, если это случится, я буду очень несчастливъ. Запомните это, дорогая моя!“

При одномъ воспоминаніи о Нераевѣ Ину бросило въ краску.

— Милый... милый... прости меня за то, что я была слѣпа всѣ эти пятнадцать мѣсяцевъ... Искала неба и бога тамъ, гдѣ не было и намека на нихъ, и проглядѣла истинное сіяніе такъ близко отъ себя, такъ ужасно близко!.. О, теперь, хоть и поздно, я искуплю свою вину, награжу тебя по-царски за всѣ пережитыя мученія! Я буду ле-

лѣять тебя, мой Женя! Милый! Чувствуешь ли ты это?— почти вслухъ шептала она.

Мысль о предстоявшей черезъ недѣлю ея свадьбѣ съ Нераевымъ охватила ее сладкимъ и радостнымъ волненіемъ, и ей мучительно захотѣлось чистыхъ, крѣпкихъ объятій этого человѣка, съ беззавѣтной преданностью отдавшаго ей себя. А между тѣмъ, она ненавидѣла бракъ, отвергала его условность, не понимала этого насильственнаго закрѣпленія двухъ существъ.

„О, у насъ онъ будетъ особенный, основанный на свободѣ,—вспомнила она успокаивавшія ее слова Евгенія,— и мой Листикъ никогда не почувствуетъ всей тягости брачныхъ цѣпей".

IX.

— Прости меня, я опоздала немного.

— Птичурка, милая, наконецъ-то!

— Постой... не надо такъ... Дай мнѣ сказать!

— Говорить? о чемъ?.. Поѣдемъ со мною, тамъ и наговоримся вдоволь.

— Нѣтъ, извини меня! Я не поѣду никуда... и никогда больше,—прибавила Ина совсѣмъ тихо. — Я пришла проститься. Или ты не получилъ моего письма?

— Птичурка! Ты съ ума сошла? Я думалъ, ты шутишь, а ты...

— Нѣтъ, Данька... Нѣтъ, Даніилъ Николаевичъ... Ахъ, какъ это глупо звучитъ!.. Послушай... Не могу... не зови меня больше... Я писала тебѣ... Та огромная, всеобъемлющая любовь къ тебѣ уже угасла. Ты разбилъ

ее самъ... цѣлымъ рядомъ небрежностей по отношенію къ моей душѣ, къ моимъ страданіямъ. Да, да, страданіямъ! Что ты сдѣлалъ для того, чтобы я не страдала такъ мучительно жестоко-жестоко отъ нихъ и отъ раскаянія въ постоянной лжи, хотя бы и пассивной, моему жениху? Мы сходились съ тобой для ласкъ, исключительно для ласкъ, и только. Мы жили, отдѣленные стѣною другъ отъ друга, и, что бывало со мною по ту сторону стѣны, ты даже и не зналъ и не хотѣлъ знать. И я тоже... А я не могу такъ... мнѣ душно. Я не могу быть маленькимъ эпизодомъ, и только эпизодомъ, въ жизни любимаго человѣка. Никогда не согласилась бы я жить съ тобою подъ одной кровлей, чтобы не потерять иллюзіи той сверхчеловѣческой любви, которую убили бы малѣйшая обыденность и пошлость, но... но я искала въ тебѣ все время и дружбы твоей, и большого участія къ моимъ духовнымъ переживаніямъ!

— Птичурка! Неужели же опять это письмо? Я думалъ, ты капризничала по-женски... Ахъ, какъ всѣ вы, женщины, похожи другъ на друга въ этихъ вопросахъ женскаго чувства!

— Лжешь, я не похожа на другихъ, и ты это знаешь! Беззавѣтно отдавая тебѣ всю себя, я ничего не требовала взамѣнъ, никакихъ увѣреній, обѣщаній любви долгой, настоящей. Я была твоей жрицей, а не ты жрецомъ богини, какъ ты говорилъ и писалъ.

— Я мало любилъ мою птичурку?

Глаза Клочевскаго тревожно остановились на ея лицѣ, полускрытомъ большой черной шляпой. Ему было

безконечно жаль потерять эту женщину, зажигающую въ немъ всю его кровь, жаль до безумія разстаться съ этимъ покорнымъ его ласкамъ тѣломъ, съ этой беззаботно веселой въ минуты свиданій птичкой, умѣющей любить его въ то же время такъ остро и глубоко! Его самолюбіе щекотало пріятное сознаніе, что ему принадлежитъ она со всѣми свѣтлыми идеями своей работоспособной головы,— она, избалованная всеобщимъ поклоненіемъ, заключенная въ кругъ почитателей и почитательницъ ея дарованія, со своею горячею и страстною вѣрою въ его духовныя силы и восторженно поклоняющаяся ему. Разстаться съ нею? Нѣтъ, нѣтъ! это чудовищно, наконецъ! Неужели же у нея такъ развитъ инстинктъ самки и она такъ болѣзненно прозорлива, наконецъ, что видитъ по ту сторону стѣны его жизни? Да, онъ имѣетъ несомнѣнный успѣхъ у женщинъ и самъ не прочь пощекотать нервы легкимъ, невиннымъ флиртомъ иногда. Красивое женское лицо и тѣло раздражаютъ его, зовутъ, но... онъ вѣренъ Инѣ, онъ не прикасается ни къ одной женщинѣ съ тѣхъ поръ какъ сошелся съ нею. Чего же она, наконецъ, хочетъ отъ него?

— Птичурка милая, совсѣмъ разлюбила меня, птичурка?—произнесъ онъ, вкладывая всю имѣвшуюся у него въ запасѣ нѣжность.—Между тѣмъ во все время своего пути я какъ-то особенно былъ полнъ тобою! И то злосчастное письмо было результатомъ...

— Не лги! Не лги!—почти въ голосъ истерически крикнула Лерская.

— За нами идутъ, тише! Здѣсь публика! Иночка, не волнуйся, ради Бога!

Клочевскій былъ смущенъ. Не достаетъ еще, чтобы она раскричалась, какъ торговка. Вотъ гдѣ богема-то сказывается, писательская богема! Въ каждой даже самой интересной женщинѣ-писательницѣ, художницѣ или артисткѣ сидитъ безусловная истеричка. И Клочевскій умышленно прибавлялъ шагу, уводя ее по освѣщенной электрическими фонарями улицѣ отъ людей. Всю дорогу съ минуты ихъ встрѣчи за ними шелъ кто-то... Взглянуть, обернуться было неудобно. Пропустить впередъ еще неудобнѣе, а Ина какъ нарочно волнуется и шумитъ. И раздраженіе сильнѣе закипало въ сердцѣ Клочевскаго.

— Послушай,—заговорила она снова, точно читая въ его мысляхъ,—къ чему тянуть эту недостойную комедію? Отпусти меня! Вотъ твои письма, получай! Нужно признаться, ты пишешь художественно и умѣешь напустить тумана. „Боги“, „небожители“, „жрецы“, „храмы“, „жертвенники“. Ослѣпительно эффектно—сознаюсь, и ни на волосъ искренности. Но теперь я прозрѣла. Любви нѣтъ, осталась привычка. Мы должны разойтись, иначе все послѣдующее было бы развратомъ. Да!

— Иночка, тише! Насъ слушаютъ!—понизилъ Клочевскій голосъ.

Темная тѣнь все еще двигалась позади нихъ. Но Лерской сейчасъ не было до этого дѣла. Она говорила горячо, взволнованно, жарко. Да, она любила своего Даньку, отдавалась ему, пока вѣрила въ его любовь. Но сейчасъ нѣтъ вѣры. Умерла вѣра—и ея сердце захлопнулось для него.

— И все изъ какого-то каприза!—бросилъ Клочевскій. Его обычное спокойствіе стало измѣнять ему, наконецъ. Онъ начиналъ злиться.—Тебя-то, мою птичурку, я считалъ всегда сверхъ-женщиной, чуждой обычныхъ мелкихъ недостатковъ, а оказывается... Впрочемъ, я отлично понимаю суть дѣла. Птичурка разлюбила, надоѣла ей Данькина любовь... И вотъ птичурка придралась къ малѣйшему поводу и уходитъ.

— Неправда! — крикнула Ина такъ, что кто-то шедшій за ними отсталъ на два шага, но потомъ снова настигъ и пошелъ по пятамъ за ними.—Неправда! я ухожу отъ тебя, потому что ты видѣлъ во мнѣ женщину и только женщину. Да, я женщина, plus femme que femme, какъ говорятъ французы, и горжусь этимъ. Но не только же самкой и любовницей являлась я къ тебѣ. Я прежде всего хотѣла, чтобы ты видѣлъ во мнѣ человѣка, друга. Я требовала отклика на то огромное человѣческое чувство, которымъ по отношенію тебя дрожала моя душа... Но ты просмотрѣлъ его подъ оболочкой тѣла, потому что тѣла и только тѣла женщины ты во мнѣ искалъ... И укралъ изъ души моей всѣ цѣнности... Да, да, безсовѣстно укралъ... Всѣ надежды мои... Все мое счастье.

— Ина, Ина!—испуганно вскричалъ Клочевскій.— И замеръ безмолвно на нѣсколько минутъ, потомъ заговорилъ уже спокойнѣе:—Но что же дѣлать намъ теперь? Жаль, что ты рѣшаешь вопросъ разрыва сразу, не обдумавъ хорошенько, не взвѣсивъ всего. А между тѣмъ можетъ придти раскаяніе, но изъ ложнаго само-

любія, такъ свойственнаго женщинамъ, ты отрѣжешь себѣ возвращеніе назадъ.

— Мнѣ его и не надо: я не вернусь къ тебѣ! Я не люблю тебя!

— Нѣтъ?

— Нѣтъ!.. Все умерло, все пропало.

— Хороша же была твоя любовь!

— Молчи... не оскверняй прошлаго! Ты помнишь мои ласки, беззавѣтно-страстныя минуты, когда я, полуживая отъ усталости послѣ моего рабочаго дня въ редакціи, воскресала снова, взвинченная своей огромной любовью къ тебѣ. Теперь все прошло.

— Ну, что же! Стало быть, приходится закрывать храмъ, гасить священный огонь вплоть до появленія новой богини. О, я вѣрю, что она явится, что я еще разъ испытаю то огромное свѣтлое чувство, съ которымъ ты познакомила меня. Форма измѣнится, но содержаніе останется то же. Жаль, что не съ тобой! Неужели не съ тобой, птичурка, милая?—произнесъ Клочевскій не совсѣмъ естественнымъ тономъ.

Они были теперь въ полутемномъ переулкѣ. Улочка была слабо освѣщена. У воротъ дремалъ дворникъ. За воротами притаился тотъ, высокій прохожій, заинтересовавшійся ими и слѣдовавшій все время по ихъ слѣдамъ. Руки Клочевскаго въ одну минуту охватили станъ Ины и страстно привлекли ее къ себѣ.

Это былъ знакомый пріемъ, дѣйствовавшій на Лерскую всегда изумительно въ рѣдкія минуты недоразумѣній. И прежде, чѣмъ она могла опомниться, горячія

губы прижались къ ея губамъ. На минуту у нея затуманилось сознаніе. Власть прошлаго еще очевидно не угасла. Этотъ человѣкъ былъ еще близокъ ей, несмотря на то, что любовь ея уже умерла.

Но она сдѣлала огромное усиліе надъ собою и почти со злобой бросила ему въ лицо:

— Ты ошибся... не размѣрилъ своихъ силъ. Меня не поймать на эту удочку... Прощай, Данька.

Послѣднее слово она произнесла слишкомъ громко и, повернувшись къ нему спиной, стремительно отошла отъ него.

Клочевскій остался стоять ошеломленный, взволнованный.

„Это ужъ изъ рукъ вонъ что такое! Богъ съ ней, если такъ!“

Вся его гордость протестовала возмущенно, но онъ все-таки настойчиво еще позвалъ разъ:

— Ина, Иночка, вернись!

— Поздно!

Какъ во снѣ, слышала Лерская знакомый голосъ, но не было отвѣта на него въ ея душѣ.

Она стремительно уходила отъ Клочевскаго, не видя ничего предъ собою...

Сонный маленькій переулокъ... темныя ворота... черная тѣнь. Дворникъ? Нѣтъ, этотъ сидитъ на мѣстѣ. Почему-то вздрогнуло сердце Ины, почему-то до боли тѣснило что-то въ груди. Темное, какъ смерть, предчувствіе наполнило все ея существо тяжелымъ, безконечнымъ ощущеніемъ.

Что это?

Отъ воротъ отдѣлилась высокая фигура. Знакомое, перекошенное судорогой невыразимаго страданія лицо, бѣлое, какъ известь... Огромные глаза, горящіе огнемъ отчаянія; металлическія пуговицы пальто, тускло поблескивавшія при скудномъ освѣщеніи переулка...

— Женя!

Инѣ казалось, что это—не она, а кто-то другой крикнулъ на всю улицу знакомое имя, кто-то другой, страшный и холодный, вошедшій въ нее вмѣстѣ съ леденящимъ душу отчаяньемъ...

Нераевъ какъ изъ-подъ земли выросъ предъ нею. Жутко было смотрѣть въ его помертвѣвшее лицо, съ закушенными губами. Эти синія губы дрожали, силясь выдавить изъ себя что-то...

— Женя! Женя! Женя!—съ безумнымъ отчаяніемъ лепетала Ина.

Синія губы шептали, не слушая ея, что-то свое, едва двигаясь двумя синими полосками.

— Спасибо... теперь все знаю... Шелъ за вами все время... Ничего... ничего... Не бойтесь, все знаю. Спасибо! Спасибо, Листикъ!

X.

На секунду Ина почти потеряла сознаніе. Прислонившись къ стѣнѣ дома, она закрыла глаза; захватило дыханіе, до боли сжалось сердце...

Когда она открыла снова глаза, Евгенія уже не было предъ нею. Онъ исчезъ, какъ тяжелый кошмаръ, какъ

призракъ, точно растаялъ вдругъ. Его не было—и все, только что происшедшее, показалось ей вдругъ тѣмъ же кошмаромъ.

Внезапная мысль вдругъ озарила сознаніе Лерской, и все ея тѣло задрожало мелкой дрожью, охваченное властью гнетущаго предчувствія:

„Онъ не вынесетъ... Онъ не переживетъ!“

Холодный потъ выступилъ крупными каплями на лбу, потекъ по щекамъ и по лицу градомъ, какъ слезы.

Ужасъ заледенилъ душу. Что, если онъ, Женя, Евгеній, самый дорогой, такъ страстно любимый ею человѣкъ, не выдержитъ удара и покончитъ съ собою? Сейчасъ, сію минуту, теперь и въ будущемъ она всѣми фибрами своей души принадлежитъ ему... Тому оставалось лишь прошлое. Одни осколки его... Такъ неужели же судьба будетъ такъ слѣпа и жестока, такъ нелѣпо слѣпа!

Обезумѣвъ отъ страха, охваченная тѣснымъ кольцомъ отчаянія, Лерская бросилась къ единственному извозчику, дремавшему на углу, торопливо вскочила въ коляску и назвала улицу.

„Скорѣе, скорѣе за нимъ!.. Къ нему!..“.

Ей казалось, что тощая лошаденка плетется шагомъ. Ея сердце было полно острой мукой отчаянія, и съ каждымъ мгновеніемъ эта мука ширилась, росла.

Ина глухо застонала, по временамъ прижимая къ груди трепещущія руки.

— Женя! Женя!

Предъ нею стоялъ его безконечно дорогой образъ...

Любимый до безумія въ этой отчаянной тревогѣ за его жизнь.

Предъ домомъ, гдѣ жили Нераевы—Евгеній съ матерью и двумя сестрами—Ина съ проворствомъ дѣвочки-подростка соскочила съ пролетки.

На ея тревожный вопросъ, дома ли баринъ, швейцаръ отвѣтилъ, узнавъ ее:

— Еще не возвращались, барыня. Ушли давно.

Тогда новый приливъ страха захолодилъ ея сердце.

Отпустивъ извозчика, она побѣжала по улицѣ, натыкаясь на прохожихъ, получая нелестныя замѣчанія на свой счетъ. И не слышала ничего, кромѣ своего отчаянія. Что ей до этого міра сейчасъ! Одинъ Евгеній занялъ всю ея душу, всю поглощенную нечеловѣческимъ по своей силѣ страданіемъ. Она должна найти его во что бы то ни стало, объяснить ему все, вымолить у него прощенія, сказать ему, что его одного она любитъ всецѣло и принесетъ искупительную жертву, какой бы онъ ни потребовалъ отъ нея.

„Только бы найти, отыскать, предотвратить несчастье! Только бы найти!“

Лерская металась по длиннымъ, безконечнымъ улицамъ столицы, подавленная страхомъ предчувствія непоправимой бѣды.

Фонари равнодушно освѣщали дорогу; прохожіе, рѣдкіе въ эти поздніе ночные часы, изумленно смотрѣли на блѣдную, растерянную женщину, со съѣхавшей набокъ шляпой, съ ужасомъ, глядѣвшимъ изъ ея широко раскрытыхъ зрачковъ.

И опять та же непостижимая сила приносила Ину къ дому Нераева.

— Не вернулся еще Евгеній Александровичъ?— бросала она навстрѣчу безпорядочно уже по-ночному одѣтому швейцару и получала все то же безстрастное „нѣтъ“.

И опять начиналась та же безтолковая бѣготня, жуткая, безконечная, съ адомъ въ душѣ, съ хаосомъ въ мысляхъ...

* * *

Уже свѣтало. Не чувствуя боли и усталости въ ногахъ, избѣгавъ полгорода, Лерская приплелась чуть живая къ знакомому подъѣзду.

— Ну, что?

— Еще не вернулись!

— Ради Бога, какъ только вернется, попросите пріѣхать ко мнѣ сейчасъ же!—глухимъ голосомъ произнесла она.

Ея душа уже не стонала больше, мысль омертвѣла, затихла. Ина была въ томъ полусознательномъ состояніи, за которымъ уже не видно ни единаго проблеска, ни капли надежды на свѣтлый конецъ.

Но на площадкѣ предъ дверью своей квартиры она немного встряхнулась. Ей сверкнулъ лучъ надежды, совсѣмъ маленькій лучъ.

— Дуня, Евгеній Александровичъ не у насъ?— обратилась она къ открывшей ей заспанной прислугѣ.

— Что вы, барыня? Ночью-то!

Да, ночью онъ не придетъ! Она права!

Ина прошла въ гостиную. Какой непривѣтливой казалась эта комната при сѣромъ разсвѣтѣ осенняго утра! На подзеркальникѣ въ вазѣ умирали цвѣты—его цвѣты, Женины. Дней пять назадъ онъ прислалъ ихъ ей, милый! Милый!

„Послѣдніе!—почему-то напомнила мысль,—онъ не забудетъ, не проститъ!"

„О, все равно! Лишь бы жилъ... лишь бы жилъ дорогой, бѣдный!"—простучала въ мозгъ вдогонку ей другая.

Ина опустилась на маленькій диванъ, гдѣ такъ часто сидѣла въ долгой дружеской бесѣдѣ съ Нераевымъ, и стала ждать. Чего?—она не знала. Шаговъ на лѣстницѣ, звонка, письма, или его самого? Если бы! О! Если бы!..

Мысли, одна другой стремительнѣе, туманнѣе, больнѣе, рѣзали усталую голову. Ина цѣпенѣла; что-то похожее на сонъ стало окутывать все ея существо...

* * *

И вотъ ей послышался звонъ колокола, потомъ пѣніе... Потомъ она увидѣла себя и Евгенія рядомъ. Они объ руку входятъ въ какую-то церковку, убогую, бѣдную.

— Сейчасъ насъ обвѣнчаютъ,—говоритъ Евгеній.

Но нѣтъ радости въ его глазахъ.

На ней тоже почему-то не свѣтлое подвѣнечное, а черное платье и тупая боль разгорается въ душѣ. А

колокола звонятъ и поютъ что-то далекое, похожее на пѣснь свободы, сложенную народомъ, или на пѣснь тюрьмы.

— Барыня, голубушка, проснитесь!—умоляетъ испуганная Дуня и трясетъ Ину за плечо.

— А, что? Ната не идетъ въ гимназію? Нездорова?—лепечетъ Лерская спросонокъ, спуская отекшія вслѣдствіе неудобнаго положенія на коротенькомъ диванчикѣ ноги.

И въ тотъ же мигъ ей сразу ясно представляется пережитый за ночь кошмаръ. Огромная, давящая глыба наваливается ей въ душу, давитъ сердце...

— Отъ Нераевыхъ прислали, просятъ сейчасъ же... Евгеній Александровичъ заболѣли.

— Боленъ?

Сразу тяжелое, давящее чувство камнемъ скатывается съ души Ины: если онъ боленъ—она выходитъ его, дорогого, любимаго; не щадя силъ, будетъ няньчить больного, какъ дитя. Она усиленными ласками заставитъ его забыть этотъ ударъ, нанесенный ему такъ нелѣпо и дико судьбою.

„О, милый, бѣгу, спѣшу къ тебѣ!“

И въ сердцѣ женщины снова зацвѣтаетъ надежда, когда Ина мчится на извозчикѣ къ знакомому дому.

Ее встрѣчаетъ растерянное лицо швейцара; его глаза внимательнымъ, не безъ примѣси любопытства, взглядомъ уставились въ ея лицо.

Дверь въ квартиру Нераевыхъ открыта.

„Зачѣмъ открыта дверь?“—мелькаетъ мелькомъ въ головѣ Ины.

Уже на площадкѣ слышится чей-то смѣхъ, громкій,

неудержимый, и, вслушавшись въ него, Ина хватается за сердце. Зловѣщій, истерическій смѣхъ...

— Что такое?—бросаетъ она поблѣднѣвшими губами доктору Курцову, встрѣтившему ее на порогѣ.—Зачѣмъ вы здѣсь?

Курцовъ смотритъ на нее какимъ-то новымъ, мягкимъ взглядомъ, полнымъ жалости и сочувствія.

— Женя боленъ? очень? опасно?—глухо роняетъ Ина и почему-то сердце сжимается сильнѣй.

— Пойдемте къ нему,—мягко говоритъ докторъ и беретъ ее за руку И неожиданно на его умномъ, некрасивомъ лицѣ она видитъ слезы.—Васъ... васъ... должна утѣшить мысль... что... что онъ не очень страдалъ—прибавляетъ онъ тихо.

„Страдалъ! Значитъ?—въ мозгу загорается ужасная догадка.

Страшная мысль стрѣлою пронизываетъ мозгъ. Все становится сразу и безъ словъ понятнымъ.

Со стономъ ужаса Ина вырываетъ свою руку и бросается бѣгомъ черезъ гостиную и комнату двухъ сестеръ Евгенія, гдѣ онѣ стоятъ и плачутъ, прижавшись другъ къ другу, туда, въ кабинетъ жениха.

Онъ здѣсь. Лежитъ на оттоманкѣ, странно вытянувшійся и блѣдный, до синевы блѣдный, съ чуть пріоткрытыми глазами, странно оскалившимся ртомъ, съ темнымъ пятномъ на вискѣ у глаза. Знакомый и странно чужой въ одно и то же время. Его рука какъ-то нелѣпо подвернута подъ нимъ. А на головѣ что-то бѣлое, прикрывающее лобъ и темя.

— Женя!

Онъ не отвѣчаетъ... Молчитъ...

Не чувствуя ничего, кромѣ одного животнаго страха, Ина бросается къ Нераеву, порывисто обнимаетъ его и, дико вскрикнувъ, отшатывается назадъ.—Ея Женя холоденъ, мертвъ...

— Часъ тому назадъ...—уже не удерживая слезъ, лепечетъ Курцовъ.—Однимъ выстрѣломъ... безъ мученія... сразу... Меня вызвали уже къ трупу... Да...

Ина слышитъ голосъ какъ будто издалека, слышитъ и не слышитъ... сейчасъ... И такъ же, какъ и раньше, гдѣ-то черезъ комнату продолжаетъ звучать тотъ же странный смѣхъ матери самоубійцы, жуткій, безумный смѣхъ!

Лерская глядитъ... смотритъ на холодный трупъ... на дорогое тѣло и вся ея жизнь перешла въ глаза, сосредоточенная на этомъ мертвомъ лицѣ—безконечно дорогомъ и такъ мало видѣвшемъ отъ нея ласки при жизни...

И огромная, нестерпимая боль потери безцѣннаго сокровища пронизываетъ все ея существо.

Въ сердцѣ горитъ, разростаясь съ каждымъ мгновеніемъ, мучительное отчаяніе и любовь, зарожденная вѣчнымъ страданіемъ, великая, святая любовь къ погибшему, любовь на всю жизнь—пустую и темную, какъ могила, съ этого дня.

КОНЕЦЪ.

1237
с. кол

Цѣна 1 р. 50 к.

36894

Складъ при книгоиздательствѣ
„ПРОМЕТЕЙ“.
С.-Петербургъ, Поварской, 10.

7 Л.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, Спб., Б. Подъяческая, 39.

37.44.1.34.